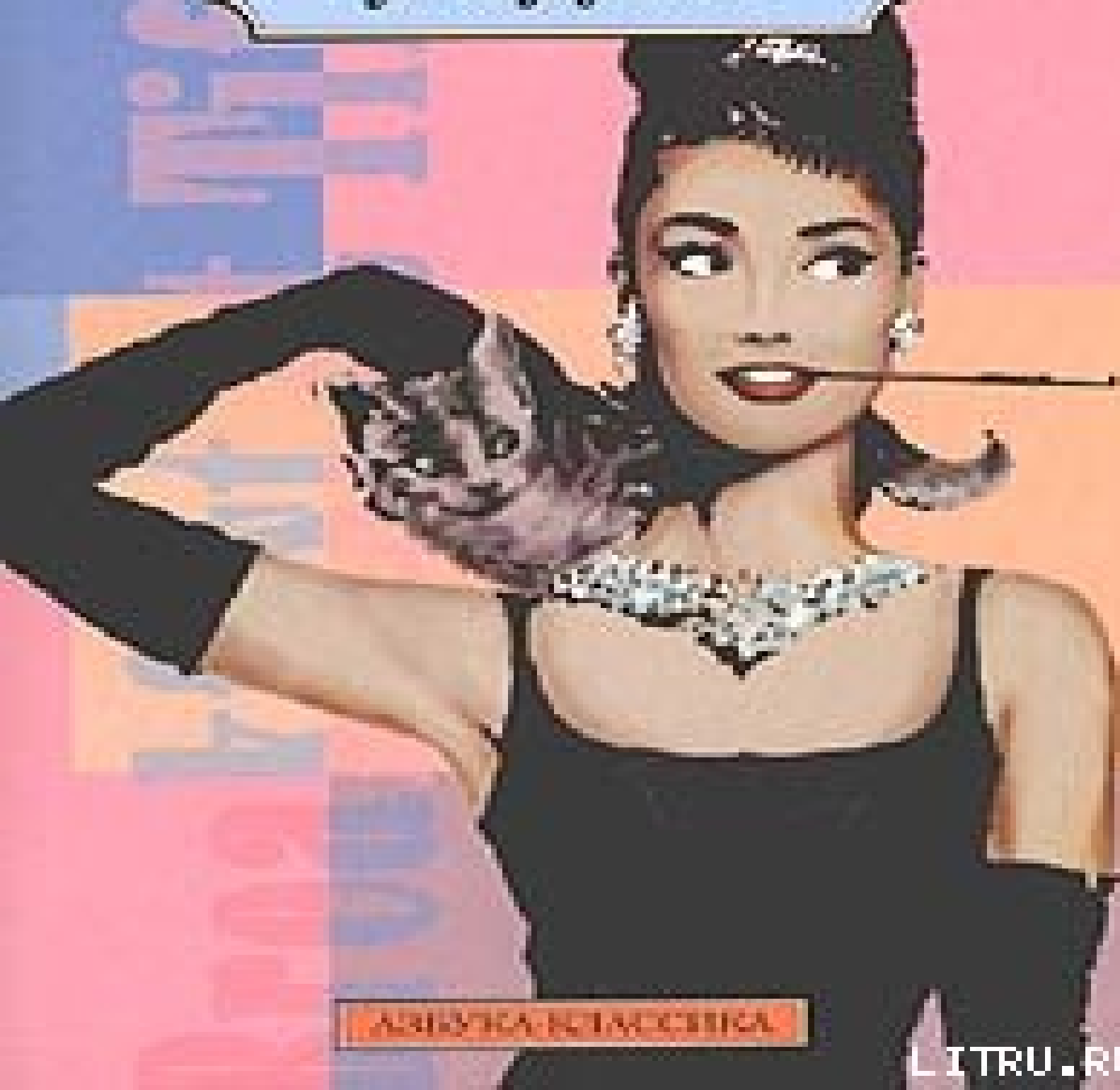


ТРЕНДИ
КАПОТЕ

*Завтрак
у Тиффани*



ANASTASIA KUMACHEVA

LITRU.RU

- Трумен Капоте

- ***

- notes

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
-

Трумен Капоте
Завтрак у Тиффани

* * *

Меня всегда тянет к тем местам, где я когда-то жил, к домам, к улицам. Есть, например, большой темный дом на одной из семидесятих улиц Ист-Сайда, в нем я поселился в начале войны, впервые приехав в Нью-Йорк. Там у меня была комната, заставленная всякой рухлядью: диваном, пузатыми креслами, обитыми шершавым красным плюшем, при виде которого вспоминаешь душный день в мягком вагоне. Стены были выкрашены клеевой краской в цвет табачной жвачки. Повсюду, даже в ванной, висели гравюры с римскими развалинами, конопатые от старости. Единственное окно выходило на пожарную лестницу. Но все равно, стоило мне нащупать в кармане ключ, как на душе у меня становилось веселее: жилье это, при всей его унылости, было моим первым собственным жильем, там стояли мои книги, стаканы с карандашами, которые можно было чинить, – словом, все, как мне казалось, чтобы сделаться писателем.

В те дни мне и в голову не приходило писать о Холли Голайтли, не пришло бы, наверно, и теперь, если бы не разговор с Джо Беллом, который снова расшевелил мои воспоминания.

Холли Голайтли жила в том же доме, она снимала квартиру подо мной. А Джо Белл держал бар за углом, на Лексингтон-авеню; он и теперь его держит. И Холли и я заходили туда раз по шесть, по семь на дню не затем, чтобы выпить – не только за этим, – а чтобы позвонить по телефону: во время войны трудно было поставить себе телефон. К тому же Джо Белл охотно выполнял поручения, а это было обременительно: у Холли их всегда находилось великое множество.

Конечно, все это давняя история, и до прошлой недели я не виделся с Джо Беллом несколько лет. Время от времени мы созванивались; иногда, оказавшись поблизости, я заходил к нему в бар, но приятелями мы никогда не были, и связывала нас только дружба с Холли Голайтли. Джо Белл – человек нелегкий, он это сам признает и объясняет тем, что он холостяк и что у него повышенная кислотность. Всякий, кто его знает, скажет вам, что общаться с ним трудно. Просто невозможно, если вы не разделяете его привязанностей, а Холли – одна из них.

Среди прочих – хоккей, веймарские охотничьи собаки, «Наша детка Воскресенье» (передача, которую он слушает пятнадцать лет) и «Гилберт и Салливан» – он утверждает, будто кто-то из них ему родственник, не помню, кто именно.^[1]

Поэтому, когда в прошлый вторник, ближе к вечеру, зазвонил телефон и послышалось: «Говорит Джо Белл», – я сразу понял, что речь пойдет о Холли. Но он сказал только: «Можете ко мне заскочить? Дело важное», – и квакающий голос в трубке был сиплым от волнения.

Под проливным дождем я поймал такси и по дороге даже подумал, а вдруг она здесь, вдруг я снова увижу Холли?

Но там не было никого, кроме хозяина. Бар Джо Белла не очень людное место по сравнению с другими пивными на Лексингтон-авеню. Он не может похвастаться ни неоновой вывеской, ни телевизором. В двух старых зеркалах видно, какая на улице погода, а позади стойки, в нише, среди фотографий хоккейных звезд, всегда стоит большая ваза со свежим букетом – их любовно составляет сам Джо Белл. Этим он и занимался, когда я вошел.

– Сами понимаете, – сказал он, опуская в воду гладиолус, – сами понимаете, я не заставил бы вас тащиться в такую даль, но мне нужно знать ваше мнение. Странная история! Очень странная приключилась история.

– Вести от Холли?

Он потрогал листок, словно раздумывая, что ответить. Невысокий, с жесткими седыми волосами, выступающей челюстью и костлявым лицом, которое подошло бы человеку много выше ростом, он всегда казался загорелым, а теперь покраснел еще больше.

– Нет, не совсем от нее. Вернее, это пока непонятно. Поэтому я и хочу с вами посоветоваться. Давайте я вам налью. Это новый коктейль, «Белый ангел», – сказал он, смешивая пополам водку и джин, без вермута.

Пока я пил этот состав, Джо Белл стоял рядом и сосал желудочную таблетку, прикидывая, что он мне скажет. Наконец сказал:

– Помните такого мистера И. Я. Юниоши? Господинчика из Японии?

– Из Калифорнии.

Мистера Юниоши я помнил прекрасно. Он фотограф в иллюстрированном журнале и в свое время занимал студию на верхнем этаже того дома, где я жил.

– Не путайте меня. Знаете вы, о ком я говорю? Ну и прекрасно. Так вот, вчера вечером заявляется сюда этот самый мистер И. Я. Юниоши и подкатывается к стойке. Я его не видел, наверно, больше двух лет. И где, по-вашему, он пропадал все это время?

– В Африке.

Джо Белл перестал сосать таблетку, и глаза его сузились.

– А вы почему знаете?

– Прочел у Уинчелла.^[2]

– Так оно и было на самом деле.

Он с треском выдвинул ящик кассы и достал конверт из толстой бумаги.

– Может, вы и это прочли у Уинчелла?

В конверте было три фотографии, более или менее одинаковые, хотя и снятые с разных точек: высокий, стройный негр в ситцевой юбке с застенчивой и вместе с тем самодовольной улыбкой показывал странную деревянную скульптуру – удлиненную голову девушки с короткими, приглаженными, как у мальчишки, волосами и сужающимся книзу лицом; ее полированные деревянные, с косым разрезом глаза были необычайно велики, а большой, резко очерченный рот походил на рот клоуна. На первый взгляд скульптура напоминала обычный примитив, но только на первый, потому что это была вылитая Холли Голайтли – если можно так сказать о темном неодушевленном предмете.

– Ну, что вы об этом думаете? – произнес Джо Белл, довольный моим замешательством.

– Похоже на нее.

– Слушайте-ка, – он шлепнул рукой по стойке, – это она и есть. Это ясно как божий день. Японец сразу ее узнал, как только увидел.

– Он ее видел? В Африке?

– Ее? Нет, только скульптуру. А какая разница? Можете сами прочесть, что здесь написано. – И он перевернул одну из фотографий. На обороте была надпись: «Резьба по дереву, племя С, Тококул, Ист-Англия. Рождество, 1956».

– Японец вот что говорит... – начал он, и дальше последовала такая история.

На Рождество мистер Юниоши проезжал со своим аппаратом через Тококул, деревню, затерянную неведомо где, да и неважно где, – просто десяток глинобитных хижин с мартышками во дворах и сарычами на крышах. Он решил не останавливаться, но вдруг увидел негра, который сидел на корточках у двери и вырезал на трости обезьян. Мистер Юниоши заинтересовался и попросил показать ему еще что-нибудь. После чего из дома вынесли женскую головку, и ему почудилось – так он сказал Джо Беллу, – что все это сон. Но когда он захотел ее купить, негр сказал: «Нет». Ни фунт соли и десять долларов, ни два фунта соли, ручные часы и двадцать долларов – ничто не могло его поколебать. Мистер Юниоши решил хотя бы выяснить происхождение этой скульптуры, что стоило ему всей его соли и часов. История была ему изложена на смеси африканского, тарабарского и языка глухонемых. В общем, получалось так, что весной этого года трое белых людей появились из зарослей верхом на лошадях.

Молодая женщина и двое мужчин. Мужчины, дрожавшие в ознобе, с воспаленными от лихорадки глазами, были вынуждены провести несколько недель взаперти в отдельной хижине, а женщине понравился резчик, и она стала спать на его циновке.

– Вот в это я не верю, – брезгливо сказал Джо Белл. – Я знаю, у нее всякие бывали причуды, но до этого она бы вряд ли дошла.

– А потом что?

– А потом ничего. – Он пожал плечами. – Ушла, как и пришла, – уехала на лошади.

– Одна или с мужчинами?

Джо Белл моргнул.

– Кажется, с мужчинами. Ну, а японец, он повсюду о ней спрашивал. Но никто больше ее не видел. – И, словно испугавшись, что мое разочарование может передаться ему, добавил: – Но одно вы должны признать: сколько уже лет прошло, – он стал считать по пальцам, их не хватило, – а это первые достоверные сведения. Я только надеюсь, что она хотя бы разбогатела. Наверно, разбогатела. Иначе вряд ли будешь разъезжать по Африкам.

– Она, наверно, Африки и в глаза не видела, – сказал я совершенно искренне; но все же я мог себе ее представить в Африке: Африка – это в ее духе. Да и головка из дерева... – Я опять посмотрел на фотографии.

– Все-то вы знаете. Где же она сейчас?

– Умерла. Или в сумасшедшем доме. Или замужем. Скорей всего, вышла замуж, утихомирилась и, может, живет тут, где-нибудь рядом с нами.

Он задумался.

– Нет, – сказал он и покачал головой. – Я вам скажу почему. Если бы она была тут, я бы ее встретил. Возьмите человека, который любит ходить пешком, человека вроде меня; и вот ходит этот человек по улицам уже десять или двенадцать лет, а сам только и думает, как бы ему не проглядеть кое-кого, и так ни разу ее не встречает – разве не ясно, что в этом городе она не живет? Я все время вижу женщин, чем-то на нее похожих... То плоский маленький задок... Да любая худая девчонка с прямой спиной, которая ходит быстро... – Он замолчал, словно желая убедиться, внимательно ли я его слушаю. – Думаете, я спятил?

– Просто я не знал, что вы ее любите. Так любите.

Я пожалел о своих словах – они привели его в замешательство.

Он сгреб фотографии и сунул в конверт. Я посмотрел на часы. Спешить мне было некуда, но я решил, что лучше уйти.

– Пойдите, – сказал он, схватив меня за руку. – Конечно, я ее любил. Не то чтобы я хотел с ней... – И без улыбок, добавил: – Не скажу, чтобы я вообще об этом не думал. Даже и теперь, а мне шестьдесят семь будет десятого января. И что странно: чем дальше, тем больше эти дела у меня на уме. Я помню, даже мальчишкой столько об этом не думал. А теперь – без конца. Наверно, чем старше становишься и чем трудней это дается, тем тяжелее давит на мозги. И каждый раз, когда в газетах пишут, как опозорился какой-нибудь старик, я знаю: все от таких мыслей. Только я себя не опозорю. – Он налил себе виски и, не разбавив, выпил. – Честное слово, о Холли я никогда так не думал. Можно любить и без этого. Тогда человек будет вроде посторонним – посторонним, но другом.

В бар вошли двое, и я решил, что теперь самое время уйти. Джо Белл проводил меня до двери. Он снова схватил меня за руку:

– Верите?

– Что вы о ней так не думали?

– Нет, про Африку.

Тут мне показалось, что я ничего не помню из его рассказа, только как она уезжает на лошади.

– В общем, ее нет.

– Да, – сказал он, открывая дверь. – Нет, и все.

Ливень кончился, от него осталась только водяная пыль в воздухе, и, свернув за угол, я пошел по улице, где стоит мой бывший дом. На этой улице растут деревья, от которых летом на тротуаре лежат прохладные узорчатые тени; но теперь листья были желтые, почти все облетели и, раскиснув от дождя, скользили под ногами. Дом стоит посреди квартала, сразу за церковью, на которой синие башенные часы отбивают время. С тех пор как я там жил, его подновили: нарядная черная дверь заменила прежнюю, с матовым стеклом, а окна украсились изящными серыми ставнями. Все, кого я помню, из дома уехали, кроме мадам Сапфии Спанеллы, охрипшей колоратуры, которая каждый день каталась на роликах в Центральном парке. Я знаю, что она еще там живет, потому что поднялся по лестнице и посмотрел на почтовые ящики. По одному из этих ящиков я и узнал когда-то о существовании Холли Голайтли.

Я прожил в этом доме около недели, прежде чем заметил, что на почтовом ящике квартиры № 2 прикреплена странная карточка, напечатанная красивым строгим шрифтом. Она гласила: «Мисс Холидей Голайтли», и в нижнем углу: «Путешествует». Эта надпись привязалась ко мне, как мотив: «Мисс Холидей Голайтли. Путешествует».

Однажды поздно ночью я проснулся от того, что мистер Юниоши что-то кричал в пролет лестницы. Он жил на верхнем этаже, и голос его, строгий и сердитый, разносился по всему дому:

– Мисс Голайтли! Я должен протестовать!

Ребячливый, беззаботно-веселый голос ответил снизу:

– Миленький, простите! Я опять потеряла этот дурацкий ключ.

– Пожалуйста, не надо звонить в мой звонок. Пожалуйста, сделайте себе ключ!

– Да я их все время теряю.

– Я работаю, я должен спать, – кричал мистер Юниоши. – А вы все время звоните в мой звонок!

– Миленький вы мой, ну зачем вы сердитесь? Я больше не буду. Пожалуйста, не сердитесь. – Голос приближался, она поднималась по лестнице. – Тогда я, может, дам вам сделать снимки, о которых мы говорили.

К этому времени я уже встал с кровати и на палец приотворил дверь. Слышно было, как молчит мистер Юниоши, – слышно по тому, как изменилось его дыхание.

– Когда?

Девушка засмеялась.

– Когда-нибудь, – ответила она невнятно.

– Буду ждать, – сказал он и закрыл дверь.

Я вышел и облокотился на перила так, чтобы увидеть ее, а самому остаться невидимым. Она еще была на лестнице, но уже поднялась на площадку, и на разноцветные, рыжеватые, соломенные и белые, пряди ее мальчишечьих волос падал лестничный свет. Ночь стояла теплая, почти летняя, и на девушке было узкое, легкое черное платье, черные сандалии и жемчужное ожерелье. При всей ее модной худобе от нее веяло здоровьем, мыльной и лимонной свежестью, и на щеках темнел деревенский румянец. Рот у нее был большой, нос – вздернутый. Глаза прятались за темными очками. Это было лицо уже не ребенка, но еще и не женщины. Я мог ей дать и шестнадцать и тридцать лет. Как потом оказалось, ей двух месяцев не хватало до девятнадцати.

Она была не одна. Следом за ней шел мужчина. Его пухлая рука прилипла к ее бедру, и выпядело это непристойно – не с моральной, а с эстетической точки зрения. Это был коротконогий толстяк в полосатом костюме с ватными плечами, напомаженный, красный от искусственного загара, и в петлице у него торчала полузасохшая гвоздика. Когда они подошли к ее двери, она стала рыться в сумочке, отыскивая ключ и не обращая внимания на то, что его толстые губы присосались к ее затылку. Но, найдя наконец ключ и открыв дверь, она обернулась к нему и приветливо сказала:

– Спасибо, дорогой, что проводили – вы ангел.

– Эй, детка! – крикнул он, потому что дверь закрывалась перед его носом.

– Да, Гарри?

– Гарри – это другой. Я – Сид. Сид Арбак. Ты же меня любишь.

– Я вас обожаю, мистер Арбак. Спокойной ночи, мистер Арбак.

Мистер Арбак недоуменно глядел на запертую дверь.

– Эй, пусти меня, детка. Ты же меня любишь. Меня все любят. Разве я не заплатил по счету за пятерых твоих друзей, а я их и в глаза раньше не видел! Разве это не дает мне права, чтобы ты меня любила? Ты же меня любишь, детка!

Он постучал сначала тихо, потом громче, потом отступил на несколько шагов и пригнулся, словно собираясь ринуться на дверь и выломать ее. Но вместо этого он ринулся вниз по лестнице, колотя по стене кулаком. Едва он спустился вниз, как дверь ее квартиры приоткрылась и оттуда высунулась голова.

– Мистер Арбак!..

Он повернул назад, и на лице его расплылась улыбка облегчения – ага, она просто его дразнила.

– В другой раз, когда девушке понадобится мелочь для уборной, – она и не собиралась его дразнить, – послушайте моего совета, не давайте ей всего двадцать центов!

Она сдержала свое обещание мистеру Юниоши и, видимо, перестала трогать его звонок, потому что с этого дня начала звонить мне – иногда в два часа ночи, иногда в три, иногда в четыре; ей было безразлично, когда я вылезу из постели, чтобы нажать кнопку, отпирающую входную дверь. Друзей у меня было мало, и ни один из них не мог приходить так поздно, поэтому я всегда знал, что это она. Но первое время я подходил к своей двери, боясь, что это телеграмма, дурные вести, а мисс Голайтли кричала снизу: «Простите, милый, я забыла ключ».

Мы, конечно, так и не познакомились. Правда, мы часто сталкивались то на лестнице, то на улице, но, казалось, она меня не замечает. Она всегда была в темных очках, всегда подтянута, просто и со вкусом одета; глухие серые и голубые тона оттеняли ее броскую внешность. Ее можно было принять за манекенщицу или молодую актрису, но по ее образу жизни было ясно, что ни для того, ни для другого у нее нет времени.

Иногда я встречал ее и вдали от дома. Однажды приезжий родственник пригласил меня в «21», и там, за лучшим столиком, в окружении четырех мужчин – среди них не было мистера Арбака,

хотя любой из них мог бы за него сойти, – сидела мисс Голайтли и лениво, на глазах у всех причесывалась; выражение ее лица, еле сдерживаемый зевок умерили и мое почтение к этому шикарному месту. В другой раз, вечером, в разгар лета, жара выгнала меня из дому. По Третьей авеню я дошел до Пятьдесят первой улицы, где в витрине антикварного магазина стоял предмет моих вожделений – птичья клетка в виде мечети с минаретами и бамбуковыми комнатками, пустовавшими в ожидании говорливых жильцов – попугаев. Но цена ей была триста пятьдесят долларов. По дороге домой, перед баром Кларка, я увидел целую толпу таксистов, собравшуюся вокруг веселой хмельной компании австралийских офицеров, которые распевали «Вальс Матильды». Австралийцы кружились по очереди с девушкой, и девушка эта – кто же, как не мисс Голайтли! – порхала по булыжнику под сенью надземки, легкая, как шаль.

Но если она о моем существовании не подозревала и воспринимала меня разве что в качестве швейцара, то я за лето узнал о ней почти все. Мусорная корзина у ее двери сообщила мне, что чтение мисс Голайтли составляют бульварные газеты, туристские проспекты и гороскопы, что курит она любительские сигареты «Пикиюн», питается сыром и поджаренными хлебцами и что пестрота ее волос – дело ее собственных рук. Тот же источник открыл мне, что она пачками получает письма из армии. Они всегда были разорваны на полоски вроде книжных закладок. Проходя мимо, я иногда выдергивал себе такую закладку. «Помнишь», «скучаю по тебе», «дождь», «пожалуйста, пиши», «сволочной», «проклятый» – эти слова встречались чаще всего на обрывках, и еще: «одинок» и «люблю».

Она играла на гитаре и держала кошку. В солнечные дни, вымыв голову, она выходила вместе с этим рыжим тигровым котом, садилась на площадку пожарной лестницы и брэнчала на гитаре, пока не просохнут волосы. Услышав музыку, я потихоньку становился у окна. Играла она очень хорошо, а иногда пела. Пела хриплым, ломким, как у подростка, голосом. Она знала все ходовые песни: Кола Портера, Курта Вайля и особенно любила мелодии из «Оклахомы», которые тем летом пелись повсюду. Но порой я слышал такие песни, что поневоле спрашивал себя, откуда она их знает, из каких краев она родом. Грубовато-нежные песни, слова которых отдавали прериями и

сосновыми лесами. Одна была такая: «Эх, хоть раз при жизни, да не во сне, по лугам по райским погулять бы мне», – и эта, наверно, нравилась ей больше всех, потому что, бывало, волосы ее давно высохнут, солнце спрячется, зажгутся в сумерках окна, а она все поет ее и поет.

Однако знакомство наше состоялось только в сентябре, в один из тех вечеров, когда впервые потянуло пронзительным осенним холодком. Я был в кино, вернулся домой и залез в постель, прихватив стаканчик с виски и последний роман Сименона. Все это как нельзя лучше отвечало моим представлениям об уюте, и тем не менее я испытывал непонятное беспокойство. Постепенно оно до того усилилось, что я стал слышать удары собственного сердца. О таком ощущении я читал, писал, но никогда его прежде не испытывал. Ощущение, что за тобой наблюдают. Что в комнате кто-то есть. И вдруг – стук в окно, что-то призрачно-серое за стеклом, – я пролил виски. Прошло еще несколько секунд, прежде чем я решился открыть окно и спросить у мисс Голайтли, чего она хочет.

– У меня там жуткий человек, – сказала она, ставя ногу на подоконник. – Нет, трезвый он очень мил, но стоит ему налакаться – bon Dieu^[3]. – какая скотина! Не выношу, когда мужик кусается.

Она спустила серый фланелевый халат с плеча и показала мне, что бывает, когда мужчина кусается. Кроме халата на ней ничего не было.

– Извините, если я вас напугала. Этот скот мне до того надоел, что я просто вылезла в окно. Он думает, наверно, что я в ванной, да наплевать мне, что он думает, ну его к свиньям, устанет – завалится спать, поди не завались: до обеда восемь martinis, а потом еще вино – хватило бы слона выкупать. Слушайте, можете меня выгнать, если вам хочется. Это наглость с моей стороны – вваливаться без спросу. Но там, на лестнице, адский холод. А вы так уютно устроились. Как мой брат Фред. Мы всегда спали вчетвером, но когда ночью бывало холодно, он один позволял прижиматься. Кстати, можно вас звать Фредом?

Теперь она окончательно влезла в комнату – стояла у окна и глядела на меня. Раньше я ее не видел без темных очков, и теперь мне стало ясно, что они с диоптриями: глаза смотрели с прищуром, как у ювелира-оценщика. Глаза были огромные, зеленовато-голубые, с

коричневой искоркой – разноцветные, как и волосы, и так же, как волосы, излучали ласковый, теплый свет.

– Вы, наверно, думаете, что я очень наглая. Или tres fou.^[4] Или еще что-нибудь.

– Ничего подобного.

Она, казалось, была разочарована.

– Нет, думаете. Все так думают. А мне все равно. Это даже удобно. – Она села в шаткое плюшевое кресло, подогнула под себя ноги и, сильно щурясь, окинула взглядом комнату. – Как вы можете здесь жить? Ну прямо комната ужасов.

– А, ко всему привыкаешь, – сказал я, досадуя на себя, потому что на самом деле я гордился этой комнатой.

– Я – нет. Я никогда ни к чему не привыкаю. А кто привыкает, тому спокойно можно умирать. – Она снова обвела комнату неодобрительным взглядом. – Что вы здесь делаете целыми днями?

Я показал на стол, заваленный книгами и бумагой.

– Пишу кое-что...

– Я думала, что писатели все старые. Сароян, правда, не старый. Я познакомилась с ним на одной вечеринке, и, оказывается, он совсем даже не старый. В общем, – она задумалась, – если бы он почаще брился... Кстати, а Хемингуэй – старый?

– Ему, пожалуй, за сорок.

– Подходяще. Меня не интересуют мужчины моложе сорока двух. Одна моя знакомая идиотка все время уговаривает меня сходить к психоаналитику, говорит, у меня эдипов комплекс. Но это все merde.^[5] Я просто приучила себя к пожилым мужчинам, и это самое умное, что я сделала в жизни. Сколько лет Сомерсету Моэму?

– Не знаю точно. Шестьдесят с лишним.

– Подходяще. У меня ни разу не было романа с писателем. Нет, постойте, Бенни Шаклетта вы знаете?

Она нахмурилась, когда я помотал головой.

– Вот странно. Он жуть сколько написал для радио. Но quelle^[6] крыса. Скажите, а вы настоящий писатель?

– А что значит – настоящий?

– Ну, покупает кто-нибудь то, что вы пишете?

– Нет еще.

– Я хочу вам помочь. И могу. Вы даже не поверите, сколько у меня знакомых, которые знают больших людей. Я вам хочу помочь, потому что вы похожи на моего брата Фреда. Только поменьше ростом. Я его не видела с четырнадцати лет, с тех пор, как ушла из дому, и уже тогда в нем было метр восемьдесят восемь. Остальные братья были вроде вас – коротышки. А вырос он от молотого арахиса. Все думали, он ненормальный – столько он жрал этого арахиса. Его ничего на свете не интересовало, кроме лошадей и арахиса. Но он не был ненормальный, он был страшно милый, только смурной немножко и очень медлительный: когда я убежала из дому, он третий год сидел в восьмом классе. Бедняга Фред! Хотела бы я знать, хватает ли ему в армии арахиса. Кстати, я умираю с голоду.

Я показал на вазу с яблоками и тут же спросил, почему она так рано ушла из дому. Она рассеянно посмотрела на меня и потерла нос, будто он чесался; жест этот, как я впоследствии понял, часто его наблюдая, означал, что собеседник проявляет излишнее любопытство. Как и многих людей, охотно и откровенно о себе рассказывающих, всякий прямой вопрос сразу ее настораживал. Она надкусила яблоко и сказала:

– Расскажите, что вы написали. Про что там речь?

– В том-то вся и беда: это не такие рассказы, которые можно пересказывать.

– Совсем неприлично, да?

– Я лучше дам вам как-нибудь прочесть.

– Яблоки – неплохая закуска. Налейте мне немножко. А потом можете прочесть свой рассказ.

Редко какой автор, особенно из непечатавшихся, устоит перед соблазном почитать вслух свое произведение. Я налил ей и себе виски, уселся в кресло напротив и стал читать голосом, слегка дрожащим от сценического волнения и энтузиазма; рассказ был новый, я закончил его накануне, и неизбежное ощущение его недостатков еще не успело смутить мою душу. Речь там шла о двух учительницах, которые живут вместе, и о том, как одна из них собирается замуж, а другая, рассылая анонимные письма, поднимает скандал и расстраивает помолвку. Пока я читал, каждый взгляд, украдкой брошенный на Холли, заставлял мое сердце сжиматься. Она ерзала. Она ковыряла окурки в пепельнице, разглядывала ногти,

словно тоскуя по ножницам; хуже того – каждый раз, когда мне казалось, что ей стало интересно, в глазах у нее я замечал предательскую поволоку, словно она раздумывала, не купить ли ей пару туфель, которую она сегодня видела в магазине.

– И это все? – спросила она, пробуждаясь. Она придумывала, что бы еще сказать. – Я, конечно, не против лесбиянок. И совсем их не боюсь. Но от рассказов о них у меня зубы болят. Не могу себя почувствовать в их шкуре. Ну правда, милый, – добавила она, видя мое замешательство, – про что же, черт его дери, этот рассказ, если не про любовь двух престарелых дев?

Но хватит того, что я прочел ей рассказ, – я не собирался усугублять ошибку и снабжать его комментариями. Тщеславие толкнуло меня на эту глупость, и оно же побудило меня теперь заклеить мою гостью как бесчувственную, безмозглую ломаку.

– Кстати, – сказала она, – у вас случайно нет такой знакомой? Мне нужна компаньонка. Не смейтесь. Сама я растрепана, на прислугу у меня денег нет. А они – чудесные хозяйки. Они эту работу любят, с ними никаких забот не знаешь – ни с уборкой, ни с холодильником, ни с прачечной. В Голливуде со мной жила одна. Она играла в ковбойских фильмах, ее звали Джейн-Горемыка, но точно вам говорю: в хозяйстве она была лучше мужчины. Все, конечно, думали, что и у меня рыльце в пушку. Не знаю – наверно. Как у всех, наверно. Ну и что? Мужчин это, по-моему, не останавливает – наоборот. Возьмите ту же Горемыку – два раза разводилась. Вообще-то, им хоть бы раз выйти замуж, из-за фамилии. Будто очень шикарно называться не мисс Такая-то, а миссис Разэтакая... Нет, не может быть! – Она уставилась на будильник. – Неужели половина пятого?

За окном синело. Предрассветный ветерок играл занавесками.

– Какой сегодня день?

– Четверг.

– Четверг! – Она встала. – Боже мой, – сказала она и снова со стоном села. – Нет, это ужасно.

От усталости мне уже не хотелось ни о чем спрашивать. Я лег на кровать, закрыл глаза. И все же не выдержал:

– А что в этом ужасного?

– Ничего. Просто каждый раз забываю, что подходит четверг. Понимаете, по четвергам я должна успеть на поезд восемь сорок пять.

Там очень строго насчет часов свиданий, поэтому, когда вы приезжаете к десяти, в вашем распоряжении всего час, а потом бедняг уводят на второй завтрак. Подумать только, в одиннадцать – второй завтрак! Можно приходить и в два, мне даже удобнее, но он любит, чтобы я приезжала утром, говорит, что это заряжает его на весь день. Мне нельзя спать, – сказала она и принялась колотить себя по щекам, пока они не пошли пятнами, – я не выплюсь и буду выглядеть как чахоточная, как развалина, а это нечестно: девушка не имеет права являться в Синг-Синг желтой, как лимон.

– Конечно, нет. – Злость моя испарялась. Я снова слушал ее раскрыв рот.

– Посетители изо всех сил стараются получше выглядеть, и это так приятно, это страшно мило, женщины надевают самое нарядное, что у них есть, даже старые и совсем бедные, они стараются хорошо выглядеть и чтобы от них хорошо пахло, и я их за это люблю. И детей люблю, особенно цветных. Я говорю про тех, которых приводят жены. Это, казалось бы, грустно – видеть там детей, но ничего подобного: в волосах у них ленты, туфли начищены, можно подумать, что их привели есть мороженое, а иногда комната свиданий так и выглядит – прямо как будто у них вечеринка. И уж совсем непохоже на фильмы, – знаете, когда там мрачно шепчутся сквозь решетку. Там и нет никакой решетки, только стойка между ними и вами, и на нее ставят детей, чтобы их можно было обнять, а чтобы поцеловаться, надо только перегнуться через стойку. Больше всего мне нравится, что они так счастливы, когда видят друг друга, им обо всем надо поговорить, там не бывает скучно, они все время смеются и держатся за руки. Поэтому все по-другому, – сказала она. – Я их вижу в поезде. Они сидят тихо-тихо и смотрят, как течет река. – Она прикусила прядь волос и задумчиво ее пожевала. – Я не даю вам спать. Спите.

– Нет. Мне интересно.

– Знаю. Поэтому я и хочу, чтобы вы уснули. Если я не остановлюсь, то расскажу вам о Салли. А я не уверена, что это будет честно с моей стороны. – Она молча пожевала волосы. – Они, правда, не предупреждали меня, чтобы я никому не рассказывала. Так, намекнули. А это целая история. Может, вы напишете про это рассказ, только измените имена и все остальное. Слушай, Фред, – сказала она, потянувшись за яблоком, – побожись и укуси локоть...

Укусить себя за локоть может только акробат – ей пришлось удовольствоваться лишь слабым подобием этой клятвы.

– Ну, ты, наверно, читал о нем в газетах, – сказала она, откусив яблоко. – Его зовут Салли Томато, и я говорю по-еврейски куда лучше, чем он по-английски; но он очень милый старик, ужасно набожный. Если бы не золотые зубы, он был бы вылитый монах; он говорит, что молится за меня каждый вечер. У меня, конечно, с ним ничего не было, и, если на то пошло, я его вообще до тюрьмы не знала. Но теперь я его обожаю, вот уже семь месяцев, как я навещаю его каждый четверг, и, наверно, если бы он мне не платил, я бы все равно к нему ездила... Червивое, – сказала она и нацелилась огрызком яблока в окно. – Между прочим, я его раньше видела. Он заходил в бар Джо Белла, но ни с кем не разговаривал, просто стоял, и все, как будто приезжий. Но он, наверно, еще тогда за мной наблюдал, потому что, как только его посадили (Джо Белл мне показывал газету с фотографией: «Черная рука». Мафия. Всякие страсти–мордаста; однако пять лет ему дали), сразу пришла телеграмма от адвоката – связаться с ним немедленно, мол, это в моих интересах.

– И вы решили, что кто-то завещал вам миллион?

– Откуда! Я подумала, что это Бергдорф – хочет получить с меня долг. Но все-таки рискнула и пошла к адвокату (если только он и вправду адвокат, в чем я сомневаюсь, потому что у него вроде и конторы нет – только телефонистка принимает поручения; а встречи он всегда назначает в «Котлетном раю» – это потому, что он толстый и может съесть десять котлет с двумя банками соуса и еще целый лимонный торт). Он спросил, как я отнесусь к тому, чтобы утешить в беде одинокого старика и одновременно подрабатывать на этом сотню в неделю. Я ему говорю: послушайте, миленький, вы ошиблись адресом, я не из тех медсестричек, отхожим промыслом не занимаюсь. И гонорар меня не очень-то потряс, я могу не хуже заработать, прогулявшись в дамскую комнату: любой джентльмен с мало-мальским шиком даст полсотни на уборную, а я всегда прошу и на такси – это еще полсотни. Но тут он мне сказал, что его клиент – Салли Томато. Говорит, что милейший старик Салли давно восхищается мной «a la distance»^[7] и я сделаю доброе дело, если соглашусь раз в неделю его навещать. Ну, я не могла отказаться: это было так романтично.

– Как сказать. Тут, по-моему, не все чисто.

Она улыbnулась.

– Думаете, я вру?

– Во-первых, там просто не позволят кому попало навещать заключенных.

– А они и не позволяют. Знаешь, какая там волынка. Считается, что я его племянница.

– И больше ничего за этим нет? За то, чтобы поболтать с вами часок, он вам платит сто долларов?

– Не он – адвокат платит. Мистер О'Шонесси переводит мне деньги по почте, как только я передаю ему сводку погоды.

– По-моему, вы можете попасть в неприятную историю, – сказал я и выключил лампу. Она была уже не нужна – в комнате стояло утро и на пожарной лестнице гулькали голуби.

– Почему? – серьезно спросила она.

– Должны же быть какие-нибудь законы о самозванцах. Вы все-таки ему не племянница. А что это еще за сводка погоды?

Она похлопала себя по губам, пряча зевок.

– Чепуха. Я их передаю телефонистке, чтобы О'Шонесси знал, что я там была. Салли говорит мне, что нужно передать, ну вроде: «На Кубе – ураган» или «В Париже – снег». Не беспокойся, милый, – сказала она, направляясь к кровати, – я уже не первый год стою на своих ногах.

Утренние лучи словно пронизывали ее насквозь, она казалась светлой и легкой, как ребенок. Натянув мне на подбородок одеяло, она легла рядом.

– Не возражаешь? Я только минуту отдохну. И давай не будем разговаривать. Спи, пожалуйста.

Я притворился, что сплю, и дышал глубоко и мерно. Часы на башне соседней церкви отбили полчаса, час. Было шесть, когда она худенькой рукой дотронулась до моего плеча, легко, чтобы меня не разбудить.

– Бедный Фред, – прошептала она словно бы мне, но говорила она не со мной. – Где ты, Фред? Мне холодно. Ветер ледяной. Щека ее легла мне на плечо теплой и влажной тяжестью.

– Почему ты плачешь?

Она отпрянула, села.

– Господи Боже мой, – сказала она, направляясь к окну и пожарной лестнице. – Ненавижу, когда суют нос не в свое дело.

На следующий день, в пятницу, я вернулся домой и нашел у своей двери роскошную корзину от Чарльза и К с ее карточкой: «Мисс Холидей Голайтли. Путешествует», – а на обороте детским, нескладным почерком было нацарапано: "Большое тебе спасибо, милый Фред. Пожалуйста, прости меня за вчерашнюю ночь. Ты был просто ангел. Mille tendresses^[8] – Холли. P. S. Больше не буду тебя беспокоить".

Я ответил: «Наоборот, беспокой» – и оставил записку в ее двери вместе с букетиком фиалок – на большее я не мог разориться. Но она не бросала слов на ветер. Я ее больше не видел и не слышал, и она, вероятно, даже заказала себе ключ от входной двери. Во всяком случае, в мой звонок она больше не звонила. Мне ее не хватало, и, по мере того как шли дни, мной овладевала смутная обида, словно меня забыл лучший друг. Скука, беспокойство вошли в мою жизнь, но не вызывали желаний видеть прежних друзей – они казались пресными, как бессолевая, бессахарная диета. К среде мысли о Холли, о Синг-Синге, о Салли Томато, о мире, где на дамскую комнату выдают по пятьдесят долларов, преследовали меня так, что я уже не мог работать. В тот вечер я сунул в ее почтовый ящик записку: «Завтра четверг». На следующее утро я был вознагражден ответной запиской с каракулями:

«Большое спасибо, что напомнил. Заходи ко мне сегодня выпить часов в шесть».

Я дотерпел до десяти минут седьмого, потом заставил себя подождать еще минут пять.

Дверь мне открыл странный тип. Пахло от него сигарами и дорогим одеколоном. Он щеголял в туфлях на высоких каблуках. Без этих дополнительных дюймов он мог бы сойти за карлика. На лысой, веснушчатой, несоразмерно большой голове сидела пара ушей, остроконечных, как у настоящего гнома. У него были глаза мопса, безжалостные и слегка выпученные. Из ушей и носа торчали пучки волос, на подбородке темнела вчерашняя щетина, а рука его, когда он жал мою, была словно меховая.

– Детка в ванной, – сказал он, ткнув сигарой в ту сторону, откуда доносилось шипенье воды. Комната, в которой мы стояли (сидеть было не на чем), выглядела так, будто в нее только что въехали;

казалось, в ней еще пахнет непросохшей краской. Мебель заменяли чемоданы и нераспакованные ящики. Ящики служили столами. На одном были джин и вермут, на другом – лампа, патефон, рыжий кот Холли и ваза с желтыми розами. На полках, занимавших целую стену, красовалось полтора десятка книг. Мне сразу приглянулась эта комната, понравился ее бивачный вид.

Человек прочистил горло:

– Вы приглашены?

Мой кивок показался ему неуверенным. Его холодные глаза анатомировали меня, производя аккуратные пробные надрезы.

– А то всегда является уйма людей, которых никто не звал. Давно знаете детку?

– Не очень.

– Ага, вы недавно знаете детку?

– Я живу этажом выше.

Ответ был, видимо, исчерпывающий, и он успокоился.

– У вас такая же квартира?

– Гораздо меньше.

Он стряхнул пепел на пол.

– Вот сарай. Невероятно! Детка не умеет жить, даже когда у нее есть деньги.

Слова из него выскакивали отрывисто, словно их отстукивал телетайп.

– Вы думаете, она – да или все-таки – нет? – спросил он.

– Что – «нет»?

– Выпендривается?

– Я бы этого не сказал.

– И зря. Выпендривается. Но, с другой стороны, вы правы. Она не выпендривается, потому что на самом деле ненормальная. И вся муть, которую детка вбила себе в голову, – она в нее верит. Ее не переубедишь. Уж я старался до слез. Бенни Поллан старался, а Бенни Поддана все уважают. Бенни хотел на ней жениться, но она за него не пошла; Бенни выбросил тысячи, таская ее по психиатрам. И даже тот, знаменитый, который только по-немецки говорит, слышите, даже он развел руками. Невозможно выбить у нее из головы эти... – и он сжал кулак, словно желая раздавить что-то невидимое, – идеи... Попробуйте. Пусть расскажет вам, что она втемяшила себе в голову. Только не

думайте – я люблю детку. Все ее любят, хотя многие – нет. А я – да. Я ее искренне люблю. Я человек чуткий, вот почему. Иначе ее не оценишь – надо быть чутким, надо иметь поэтическую жилку. Но я вам честно скажу. Можешь разбиться для нее в лепешку, а в благодарность получишь дерьмо на блюдечке. Ну, к примеру, что она сегодня собой представляет? Такие-то вот и кончают пачкой люминала. Я это столько раз видел, что вам пальцев на ногах не хватит сосчитать, и притом те даже не были тронутые. А она тронутая.

– Зато молодая. И впереди у нее еще долгая молодость.

– Если вы о будущем, то вы опять не правы. Года два назад, на Западе, был такой момент, когда все могло пойти по-другому. Она попала в струю, ей заинтересовались, и она действительно могла сняться в кино. Но уж если тебе повезло, то кобениться нечего. Спросите Луизу Райнер. А Райнер была звездой. Конечно, Холли не была звездой, дальше фотопроб у нее дело не шло. Но это было до «Повести о докторе Вэсле». А тогда она действительно могла сняться. Я-то знаю, потому что это я ее проталкивал. – Он ткнул в себя сигарой. – О. Д. Берман.

Он ожидал проявлений восторга, и я был бы не прочь доставить ему такое удовольствие, но беда в том, что я в жизни не слышал об О. Д. Бермане. Выяснилось, что он голливудский агент по найму актеров.

– Я ее первый заметил. Еще в Санта-Аните. Вижу, все время сшивается на бегах. Я заинтересовался – профессионально. Узнаю: любовница жокея, живет с ним, с мозгляком. Жокею передают от меня: «Брось это дело, если не хочешь, чтобы с тобой потолковала полиция», – понимаете, детке-то всего пятнадцать. Но уже свой стиль, за живое берет. Несмотря на очки, несмотря на то, что стоит ей рот раскрыть, и не поймешь – не то деревенщина, не то сезонница. Я до сих пор не понял, откуда она взялась. И думаю, никому не понять. Врет как сивый мерин, наверно, сама забыла откуда. Год ушел на то, чтобы исправить ей выговор. Мы что делали? Заставили брать уроки французского. Когда она научилась делать вид, будто знает французский, ей стало легче делать вид, будто она знает английский. Мы ее натаскивали под Маргарет Салливан, но у нее было и кое-что свое, ей заинтересовались большие люди, и вот в конце концов Бенин Поллан, уважаемая личность, хочет на ней жениться. О чем еще

может мечтать агент? И потом – бац! «Повесть о докторе Вэсле». Вы видели картину? Сесиль де Милль. Гэри Купер. Господи! Я разрываюсь на части, все улажено: – ее будут пробовать на роль санитарки доктора Вэсла. Ну, ладно, одной из его санитарок. И на тебе – дзинь! Телефон. – Он поднял несуществующую трубку и поднес ее к уху. – Она говорит: «Это я, Холли». Я говорю: «Детка, плохо слышно, как будто издалека». А она говорит: «А я в Нью-Йорке». Я говорю: «Какого черта ты в Нью-Йорке, если сегодня воскресенье, а завтра у тебя проба?» Она говорит: «Я в Нью-Йорке потому, что я никогда не была в Нью-Йорке». Я говорю: «Садись, черт тебя побери, в самолет и немедленно возвращайся». Она говорит: «Не хочу». Я говорю: «Что ты задумала, куколка?» Она говорит: «Тебе надо, чтобы все было как следует, а мне этого не надо». Я говорю: «А какого рожна тебе надо?» Она говорит: «Когда я это узнаю, я тебе первому сообщу». Понятно теперь, про что я сказал «дерьмо на блюдечке»?

Рыжий кот спрыгнул с ящика и потерся о его ногу. Он поднял кота носком ботинка и отшвырнул; смотреть на это было противно, но он, видимо, был так раздражен, что кот в ту минуту для него просто не существовал.

– Это ей надо? – сказал он, жестом обводя комнату. – Куча народу, которого никто не звал? Жить на подачки? Шиться с подонками? Может, она еще хочет выйти за Расти Троулера? Может, ей еще орден за это дать?

Он замолчал, вне себя от ярости.

– Простите, я не знаю Троулера.

– Если вы не знаете Расти, значит, и о детке вы не больно много знаете. Паршиво, – сказал он и прищелкнул языком. – Я-то думал, что вы сможете на нее повлиять. Образумите, пока не поздно.

– Но, по вашим словам, уже поздно.

Он выпустил кольцо дыма, дал ему растаять и только тогда улыбнулся; улыбка изменила его лицо – в нем появилось что-то кроткое.

– Я еще могу устроить, чтобы ее сняли. Точно вам говорю, – сказал он, и теперь это звучало искренне. – Я в самом деле ее люблю.

– Про что ты тут сплетничаешь, О. Д.? – Холли, кое-как завернутая в полоенце, зашлепала по комнате, оставляя на полу

мокрые следы.

– Да все про то же. Что ты тронутая.

– Фред уже знает.

– Зато ты не знаешь.

– Зажги мне сигарету, милый, – сказала она, стащив с головы купальную шапочку и встряхивая волосами. – Это я не тебе, О. Д. Ты зануда. Вечно брюзжишь.

Она подхватила кота и закинула себе на плечо. Он уселся там, балансируя, как птица на жердочке, передние лапы зарылись в ее волосы, будто в моток шерсти; но при всех своих добродушных повадках это был мрачный кот с разбойничьей мордой; одного глаза у него не было, а другой горел злодейским огнем.

– О. Д. – зануда, – сказала она, беря сигарету, которую я ей раскурил. – Но знает уйму телефонных номеров. О. Д., какой телефон у Дэвида Сэлзника?

– Отстань.

– Я не шучу, милый. Я хочу, чтобы ты позвонил ему и рассказал, какой гений наш Фред. Он написал кучу прекрасных рассказов. Ладно, Фред, не красней, не ты ведь говоришь, что ты гений, а я. Слышишь, О.Д.? Что ты можешь сделать, чтобы Фред разбогател?

– Позволь уж нам самим об этом договориться.

– Помни, – сказала она уходя, – я его агент. И еще одно: когда позову, приходи, застегнешь мне молнию. А если кто постучится – открой.

Стучались без конца. За пятнадцать минут комната набилась мужчинами; некоторые были в военной форме. Я заметил двух морских офицеров и одного полковника авиации; но они терялись в толпе сидящих пришельцев уже непризывного возраста. Компания собралась самая разношерстная, если не считать того, что все тут были немолоды;

гости чувствовали себя чужими среди чужих и, входя, старались скрыть свое разочарование при виде других гостей. Как будто хозяйка раздавала приглашения, шатаясь по барам – а может, так оно и было в самом деле. Но, войдя, гости скоро переставали хмуриться и безропотно включались в разговор, особенно О. Д. Берман – он живо кинулся в самую гущу людей, явно не желая обсуждать мое голливудское будущее.

Я остался один у книжных полок; из книг больше половины было о лошадях, а остальные – о бейсболе. Прикинувшись, что я поглощен «Достоинствами лошадей и как в них разбираться», я смог беспрепятственно разглядывать друзей Холли.

Вскоре один из них привлек мое внимание. Это был средних лет младенец, так и не успевший расстаться с детским жирком, хотя умелому портному почти удалось замаскировать пухлую попку, по которой очень хотелось шлепнуть. Его круглое, как блин, лицо с мелкими чертами было девственно, не тронуто временем, губы сложены бантиком и капризно надуты, словно он вот-вот завопит и захнычет, и весь он был какой-то бескостный – казалось, он родился и потом не рос, а распухал, как воздушный шар, без единой морщинки. Но выделялся он не внешностью – хорошо сохранившиеся младенцы не такая уж редкость, – а скорее поведением, потому что вел себя так, словно это он был хозяином вечера: как неутомимый осьминог, сбивал мартини, знакомил людей, снимал и ставил пластинки. Справедливости ради надо сказать, что действиями его в основном руководила хозяйка: «Расти, пожалуйста. Расти, будь любезен». Если он ее и любил, то ревности своей воли не давал. Ревнивец, наверно, вышел бы из себя, наблюдая, как она порхает по комнате, держа кота в одной руке, а другой поправляя галстуки и снимая с лацканов пушинки; медаль полковника авиации она отшлифовала прямо до блеска.

Имя этого человека было Резерфорд (Расти) Троулер. В 1908 году он потерял обоих родителей – отец пал жертвой анархиста, мать не пережила удара, – и это двойное несчастье сделало Расти сиротой, миллионером и знаменитостью в возрасте пяти лет. С тех пор его имя не сходило со страниц воскресных газет и прогремело с особенной силой, когда он, будучи еще школьником, подвел опекуна-крестного под арест по обвинению в содомии. Затем бульварные газеты кормились его женитьбами и разводами. Его первая жена, отсудив алименты, вышла замуж за главу какой-то секты. О второй жене сведений нет, зато третья возбудила в штате Нью-Йорк дело о разводе, дав массу захватывающих показаний. С четвертой миссис Троулер он развелся сам, обвинив ее в том, что она подняла на борту его яхты мятеж, в результате чего он был высажен на островах Драй Тортугас. С тех пор он оставался холостяком, хотя перед войной, кажется,

сватался к Юнити Митфорд; ходили слухи, что он послал ей телеграмму с предложением выйти замуж за него, если она не выйдет за Гитлера. Это и дало Уинчеллу основание называть его нацистом – впрочем, как и тот факт, что Троулер исправно посещал слеты в Иорквилле.

Все эти сведения я прочел в «Путеводителе по бейсболу», который служил Холли еще и альбомом для вырезок. Между страницами были вложены статьи из воскресных газет и вырезки со светской скандальной хроникой. "В толпе уединясь, – Расти Троулер и Холли Голайтли на премьере «Прикосновения Венеры».

Холли подошла сзади и застала меня за чтением: «Мисс Холли Голайтли из бостонских Голайтли превращает каждый день стопроцентного миллионера Расти Троулера в праздник».

– Радуюсь твоей популярности или просто болеешь за бейсбол? – сказала она, заглядывая через плечо и поправляя темные очки. Я спросил:

– Какая сегодня сводка погоды?

Она подмигнула мне, но без всякого юмора: это было предостережением.

– Лошадей я обожаю, зато бейсбол терпеть не могу. – Что-то в ее тоне приказывало, чтобы я выкинул из головы Салли Томато. – Ненавижу слушать бейсбольные репортажи, но приходится – для общего развития. У мужчин ведь мало тем для разговора. Если не бейсбол – значит, лошади. А уж если мужчину не волнует ни то, ни другое, тогда плохи мои дела – его и женщины не волнуют. До чего вы договорились с О. Д.?

– Расстались по обоюдному согласию.

– Это шанс для тебя, можешь мне поверить.

– Я верю. Только шанс ли я для него – вот вопрос.

Она настаивала:

– Ступай и постарайся его убедить, что он не такой уж комичный. Он тебе действительно может помочь, Фред.

– Ты-то сама не воспользовалась его помощью. – Она посмотрела на меня с недоумением, и я сказал: – «Повесть о докторе Вэсле».

– А, опять завел старую песню, – сказала она и бросила через комнату растроганный взгляд на Бермана. – Но он по-своему прав. Я, наверно, должна чувствовать себя виноватой. Не потому, что они дали

бы мне роль, и не потому, что я бы справилась. Они бы не дали, да и я бы не справилась. Если я и чувствую вину, то только потому, что морочила ему голову, а себя я не обманывала ни минуты. Просто тянула время, чтобы пообтесаться немножко. Я ведь точно знала, что не стану звездой. Это слишком трудно, а если у тебя есть мозги, то еще и противно. Комплекса неполноценности мне не хватает, это только думают, что у звезды должно быть большое, жирное "Я", а на самом деле как раз этого ей и не положено. Не думай, что я не хочу разбогатеть или стать знаменитой. Это очень даже входит в мои планы, когда-нибудь, даст Бог, я до этого дорвусь, но только пусть мое "Я" останется при мне. Я хочу быть собой, когда в одно прекрасное утро проснусь и пойду завтракать к Тиффани. Тебе нужно выпить, – сказала она, заметив, что в руках у меня пусто. – Расти! Будь любезен, принеси моему другу бокал. – Кот все еще сидел у нее на руках. – Бедняга, – сказала она, почесывая ему за ухом, – бедняга ты безымянный. Неудобно, что у него нет имени. Но я не имею права дать ему имя; придется ему подождать настоящего хозяина. А мы с ним просто повстречались однажды у реки, мы друг другу никто: он сам по себе, я – сама по себе. Не хочу ничем обзаводиться, пока не буду уверена, что нашла свое место. Я еще не знаю, где оно. Но на что оно похоже, знаю. – Она улыбнулась и спустила кота на пол. – На Тиффани, – сказала она. – Не из-за драгоценностей, я их в грош не ставлю. Кроме бриллиантов. Но это дешевка – носить бриллианты, пока тебе нет сорока. И даже в сорок рискованно. По-настоящему они выпядят только на старухах. Вроде Марии Успенской. Морщины и кости, седые волосы и бриллианты, – а мне ждать некогда. Но я не из-за этого помираю по Тиффани. Слушай, бывают у тебя дни, когда ты на стенку лезешь?

– Тоска, что ли?

– Нет, – сказала она медленно. – Тоска бывает, когда ты толстеешь или когда слишком долго идет дождь. Ты грустный – и все. А когда на стенку лезешь – это значит, что ты уже дошел. Тебе страшно, ты весь в поту от страха, а чего боишься – сам не знаешь. Боишься, что произойдет что-то ужасное, но не знаешь, что именно. С тобой так бывает?

– Очень часто. Некоторые зовут это Angst.^[9]

– Ладно, Angst. А как ты от него спасаешься?

– Напиваюсь, мне помогает.

– Я пробовала. И аспирин пробовала. Расти считает, что мне надо курить марихуану, и я было начала, но от нее я только хихикаю. Лучше всего для меня – просто взять такси и поехать к Тиффани. Там все так чинно, благородно, и я сразу успокаиваюсь. Разве что-нибудь плохое с тобой может приключиться там, где столько добрых, хорошо одетых людей и так мило пахнет серебром и крокодиловыми бумажниками? Если бы я нашла место, где можно было бы жить и где я чувствовала бы себя, как у Тиффани, – тогда я купила бы мебель и дала коту имя. Я думала, может, после войны мы с Фредом... – Она сдвинула на лоб темные очки, и глаза – серые, с голубыми и зелеными пятнышками – сузились, словно она смотрела вдаль. – Раз я ездила в Мексику. Вот где чудные края, чтобы разводить лошадей. Я нашла одно место у моря. Фред знает толк в лошадях.

С бокалом мартини подошел Расти Троулер и подал его, на меня не глядя.

– Я голодный, – объявил он, и в его голосе, таком же недоразвитом, как и он сам, слышалось раздражающее хныканье, словно он обижался на Холли. – Уже семь тридцать, и я голодный. Ты же знаешь, что сказал доктор.

– Да, Расти. Я знаю, что сказал доктор.

– Ну, тогда гони их. И пойдём.

– Веди себя прилично. Расти. – Она разговаривала мягко, но тоном учительницы, в котором звучала строгость; лицо его от этого вспыхнуло румянцем удовольствия и благодарности.

– Ты меня не любишь, – пожаловался он, словно они были одни.

– Нельзя любить неслуха.

По-видимому, он услышал то, что хотел; ее слова, казалось, и взволновали его, и успокоили. Но он продолжал, будто исполняя какой-то обряд:

– Ты меня любишь?

Она потрепала его по плечу.

– Займись своим делом, Расти. А когда я буду готова, мы пойдём есть, куда ты захочешь.

– В китайский квартал?

– Но никакой грудинки в кисло-сладком соусе тебе не будет. Ты знаешь, что сказал доктор.

Когда, довольный, вразвалочку, он вернулся к гостям, я не удержался и напомнил Холли, что она не ответила на его вопрос.

– Ты его любишь?

– Я же тебе говорю: можно заставить себя полюбить кого угодно. И вдобавок, у него было паршивое детство.

– Раз оно такое паршивое, отчего твой Расти никак с ним не расстанется?

– Пошевели мозгами. Ты что, не видишь, – ему спокойнее чувствовать себя в пеленках, чем в юбке. Другого выбора у него нет, только он очень болезненно к этому относится. Он хотел зарезать меня столовым ножом, когда я ему сказала, чтобы он повзрослел, взглянул на меня трезво и завел домашнее хозяйство с каким-нибудь положительным, заботливым шофером грузовика. А пока я взяла его на свое попечение; ничего страшного, он безвредный и смотрит на женщин как на кукол, в буквальном смысле слова.

– Слава Богу.

– Ну, я бы вряд ли благодарила Бога, если бы все мужчины были такие.

– Нет, я говорю, слава Богу, что ты не выходишь замуж за мистера Троулера.

Она вздернула бровь.

– Кстати, я не намерена притворяться, будто не знаю, что он богат. Даже в Мексике земля стоит денег. Ну-ка, – сказала она, поманив меня, – пойдем поймем О. Д

Я замешкался, придумывая, как бы оттянуть это дело. Потом вспомнил:

– Почему – «Путешествует»?

– У меня на карточке? – сказала она смущенно. – По-твоему, это смешно?

– Не смешно. Просто вызывает любопытство.

Она пожала плечами.

– В конце концов откуда я знаю, где буду жить завтра? Вот я и велела им поставить «Путешествует». Все равно эти карточки – пустая трата денег. Но мне казалось, что надо купить там хоть какой-нибудь пустяк. Они от Тиффани. – Она потянулась за моим бокалом, к которому я не притронулся, осушила его в два глотка и взяла меня под руку.

– Перестань упрямитесь. Тебе надо подружиться с О. Д. Нам помешало появление нового гостя. Это была молодая женщина, и она ворвалась в комнату, как ветер, как вихрь развевающихся шарфов и звякающих золотых подвесок.

– Х-х-холли, – сказала она, грозя пальцем, – ах ты темнила несчастная. Прячешь тут столько з-з-замечательных м-м-мужчин!

Ростом она была под метр восемьдесят пять – выше большинства гостей. Они выпрямились и втянули животы, словно стараясь стать с ней вровень.

Холли сказала:

– Ты что здесь делаешь? – И губы ее сжались в ниточку.

– Да ничего, птичка. Я б-была наверху, работала с Юниоши. Рождественский материал для «Ба-базара». Но ты, кажется, сердисься, птичка? – Она подарила гостей широкой улыбкой. – Вы, р-р-ребята, не сердитесь, что я ворвалась к вам на в-в-вечеринку?

Расти Троулер захихикал. Он схватил ее повыше локтя, словно желая пощупать мускулы, и спросил, не хочет ли она выпить.

– Ясно, хочу, – сказала она. – Сделайте мне с бурбоном.

Холли сказала:

– У нас его нету.

Авиационный полковник тут же вызвался сбегать за бутылкой.

– Умоляю, не поднимайте шухера. Я обойдусь нашатырем. Холли, душенька, – сказала она, слегка подтолкнув ее, – не утруждай себя. Я сама могу представиться.

Она наклонилась над О. Д. Берманом, у которого, как и у многих маленьких мужчин в присутствии высокой женщины, глаза вдруг стали масляными.

– Я – М-м-мэг Уайлдвуд из Уайлдвуда, Арканзас, – есть такое захолустное местечко.

Это было похоже на танец: Берман плел ногами кружева, оттирая соперников. Но в конце концов он был вынужден уступить ее четверке партнеров, которые кулдыкали над ее косноязычными шутками, как индюки над крупой. Успех ее был понятен. Она олицетворяла победу над уродством – явление, порою более занимательное, чем настоящая красота, потому хотя бы, что в нем есть неожиданность. Здесь фокус заключался не в том, что она следила за собой или одевалась со вкусом, а в подчеркивании собственных изъянов – открыто их

признавая, она превращала недостатки в достоинства. Каблуки, еще более увеличивающие ее рост, настолько высокие, что прогибались лодыжки; очень тесный лиф, хотя и без того было ясно, что она может выйти на пляж в одних плавках; волосы, гладко зачесанные назад, оттенявшие худобу, изможденность ее лица манекенщицы. И даже заикание, хоть и природное, но нарочно усиленное, ее только украшало. Это заикание было блестящей находкой: несмотря на ее рост и самоуверенность, оно возбуждало в мужчинах покровительственное чувство и к тому же несколько скрашивало ее плоские шутки. Берман, к примеру, чуть не задохнулся, когда она спросила: «Кто мне может сказать, г-г-где здесь уборная?» – но, придя в себя, вызвался ее проводить.

– Это лишнее, – сказала Холли. – Она там уже бывала. Она знает, где уборная.

Холли вытряхивала пепельницы и, когда Мэг Уайлдвуд вышла, произнесла со вздохом:

– Какая все-таки жалость!

Она остановилась, чтобы выслушать все недоуменные вопросы, – в них не было недостатка.

– И главное, непонятно. Раньше мне казалось, что это должно быть сразу видно. Но подумать только, она выглядит совершенно здоровой! И даже чистой. Вот что самое удивительное. Ну разве скажешь по ней, – спросила она с участием, но не обращая ни к кому в особенности, – ну разве скажешь, что у нее такая штука?

Кто-то закашлялся, некоторые поперхнулись. Флотский офицер, державший бокал Мэг Уайлдвуд, поставил его на место.

– Хотя я слышала, – сказала Холли, – что на Юге многие девушки этим страдают.

Она деликатно пожала плечами и пошла на кухню за льдом. Вернувшись, Мэг Уайлдвуд не могла понять, почему в отношении к ней вдруг появился такой холодок; разговоры, которые она заводила, дымили, словно сырые поленья, и не желали разгораться. И что еще непростительнее – люди уходили, не взяв у нее номера телефона.

Полковник авиации бежал, стоило ей повернуться к нему спиной, – это ее доконало: незадолго перед тем он сам пригласил ее поужинать. Ее вдруг развезло. А джин так же вреден кокетке, как слезы – намазанным тушью ресницам, – и все ее обаяние вмиг

исчезло. Она набрасывалась на всех. Она назвала хозяйку голливудским вырожденком. Человеку, которому было за пятьдесят, предложила подраться. Берману сказала, что Гитлер прав. Она раздражила Расти Троулера, загнав его в угол.

– Знаешь, что с тобой будет? – сказала она без намека на заикание. – Я сволоку тебя в зоопарк и скормлю яку.

Он, казалось, был не против, но его постигло разочарование, потому что она сползла на пол и осталась сидеть там, бубня себе что-то под нос.

– Ты, зануда. Вставай, – сказала Холли, натягивая перчатки. Последние гости толклись у двери, но зануда не шевелилась. Холли бросила на меня умоляющий взгляд.

– Фред, будь ангелом, а? Посади ее в такси. Она живет в гостинице «Уинслоу».

– Я живу в «Барбизоне». Риджент 4-5700. Спросите Мэг Уайлдвуд.

– Ты ангел, Фред.

Они ушли. Непосильная задача посадить амазонку в такси вытеснила из головы всякую обиду. Но Мэг сама решила эту задачу. Она поднялась на ноги без посторонней помощи и, шатаясь, таранилась на меня с высоты своего роста.

– Пошли в «Сторк-клуб». Угощу коктейлем, – сказала она и рухнула как подкошенная.

Первой моей мыслью было бежать за доктором. Но осмотр показал, что пульс у нее прекрасный, а дыхание ровное. Она просто спала. Я подложил ей под голову подушку и предоставил наслаждаться сном.

На другой день я столкнулся с Холли на лестнице.

– Эх ты! – крикнула она, пробегая мимо, и показала мне лекарства. – Лежит теперь здесь чуть не в горячке. Никак не очухается с похмелья. Хоть на стенку лезь.

Из этого я заключил, что Мэг Уайлдвуд до сих пор не выдворена из квартиры, но причины такого непонятного радушия узнать не успел.

В субботу тайна сгустилась еще больше. Сначала в мою дверь по ошибке постучался латиноамериканец – он искал Мэг Уайлдвуд. Чтобы исправить эту ошибку, потребовалось некоторое время, потому

что его выговор и мой мешали нам понять друг друга. Но за это время он успел мне понравиться. Он был ладно скроен, в его смуглом лице и фигуре матадора были изысканность и совершенство, как в апельсине или в яблоке – словом, в предмете, который природе полностью удался.

Все это дополняли английский костюм, свежий запах одеколona и – что еще реже у латиноамериканцев – застенчивость.

Второй раз он появился на моем горизонте в тот же день. Дело шло к вечеру, и я увидел его, отправляясь обедать. Он приехал на такси, шофер помогал ему, сгибаясь, как и он, под грузом чемоданов. Это дало мне новую пищу для размышлений. К воскресенью пережевывать ее мне надоело.

Затем картина стала яснее и одновременно загадочнее. В воскресенье стояло бабье лето, солнце грело сильно, окно мое было открыто, и с пожарной лестницы до меня доносились голоса. Холли и Мэг лежали там, растянувшись на одеяле, и между ними сидел кот. Их волосы, только что вымытые, свисали мокрыми прядями. Холли красила ногти на ногах, Мэг вязала свитер. Говорила Мэг.

– Если хочешь знать, тебе все-таки п-п-повезло. Одно по крайней мере можно сказать о Расти. Он американец.

– С чем его и поздравляю.

– Птичка, ведь сейчас война.

– А кончится война – только вы меня и видели.

– Нет, я смотрю на это по-другому. Я г-г-горжусь своей страной. В моем роду все мужчины были замечательными солдатами. Статуя д-д-дедушки Уайлдвуда стоит в самом центре Уайлдвуда.

– Фред тоже солдат, – сказала Холли. – Но ему вряд ли поставят статую. А может, и поставят. Говорят, чем глупее человек, тем он храбрее. Он довольно глупый.

– Фред – это мальчик сверху? Я не знала, что он солдат. А что глупый – похоже.

– Любопытный. Не глупый. До смерти хочет разглядеть, что творится за чужим окошком, – у кого хочешь будет глупый вид, если нос прижат к стеклу. Короче, это не тот Фред. Фред – мой брат.

– И собственную п-п-плоть и кровь ты зовешь дураком?

– Раз он глуп, значит, глуп.

– Все равно, так говорить – это дурной тон. О мальчишке, который сражается за тебя и за меня – за всех нас.

– Ты что, на митинге?

– Ты должна знать, на чем я стою. Я понимаю шутки, но в глубине души я человек серьезный. И горжусь, что я американка. Поэтому я не спокойна насчет Жозе. – Она отложила спицы. – Согласись, что он безумно красив.

Холли сказала:

– Хм-м, – и кисточкой смазала кота по усам.

– Если бы только я могла привыкнуть к мысли, что выйду за бразильца. И сама стану б-б-бразильянской. Такую пропасть перешагнуть. Шесть тысяч миль, не зная языка...

– Иди на курсы Берлица.

– С какой стати там будут учить п-п-португальскому? Мне кажется, на нем никто и не разговаривает. Нет, единственный для меня выход – это уговорить Жозе, чтобы он бросил политику и стал американцем. Ну какой для мужчины смысл делаться п-п-президентом Бразилии? – Она вздохнула и взялась за вязанье. – Я, наверно, безумно его люблю. Ты нас видела вместе. Как, по-твоему, я безумно его люблю?

– Да как сказать. Он кусается?

Мэг спустила петлю.

– Кусается?

– В постели.

– Нет. А он должен? – Потом осуждающе добавила: – Но он смеется.

– Хорошо. Это правильный подход. Я люблю, когда мужчина относится к этому с юмором, а то большинство только и знает, что сопеть.

Мэг взяла назад свою жалобу, расценив это замечание как косвенный комплимент.

– Да. Пожалуй.

– Так. Значит, он не кусается. Он смеется. Что еще?

Мэг подобрала спущенные петли и снова начала вязать.

– Я спрашиваю...

– Слышу. Не то чтобы я не хотела тебе рассказывать. Просто не запоминается. Я не с-с-сосредоточиваюсь на таких вещах. Не так, как

ты. У меня они вылетают из головы, как сон. Но я считаю – это нормально.

– Может, это и нормально, милая, но я предпочитаю быть естественной. – Холли замолчала, докрашивая коту усы. – Слушай, если ты не можешь запомнить, не выключай свет.

– Пойми меня, Холли. Я очень и очень благопристойная женщина.

– А, ерунда. Что тут непристойного – поглядеть на человека, который тебе нравится. Мужчины такие красивые – многие из них, – Жозе тоже, а если тебе и поглядеть на него не хочется, то я бы сказала, что ему досталась довольно холодная котлетка.

– Говори тише.

– Очень может быть, что ты его и не любишь. Ну, ответила я на твой вопрос?

– Нет, и вовсе я не холодная к-к-котлетка. Я человек с горячим сердцем. Это во мне главное.

– Прекрасно. Горячее сердце! Но если бы я была мужчиной, я предпочла бы грелку. Это гораздо осязательнее.

– Мне ни к чему эти самые страсти, – сказала Мэг умиротворенно, и спицы ее снова засверкали на солнце. – Все равно я его люблю. Известно тебе, что я ему связала десять пар носков меньше чем за три месяца? А этот свитер – уже второй. – Она встряхнула свитер и отбросила его в сторону. – Только к чему они? Свитера в Бразилии. Лучше бы я делала т-т-тропические шлемы.

Холли легла на спину и зевнула.

– Бывает же там зима.

– Дождь там бывает – это я знаю. Жара. Дождь. Д-д-джунгли.

– Жара. Джунгли. Мне бы подошло.

– Да уж, скорей тебе, чем мне.

– Да, – сказала Холли сонным голосом, в котором сна и не бывало. – Скорее мне, чем тебе.

В понедельник, спустившись за утренней почтой, я увидел, что на ящике Холли карточка сменилась – добавилось новое имя: мисс Голайтли и мисс Уайлдвуд теперь путешествовали вместе. Меня бы, наверно, это заняло больше, если бы не письмо в моем собственном ящике. Оно пришло из маленького университетского журнала, куда я посылал рассказ. Он им понравился, и, хотя мне давали понять, что

платить журнал не в состоянии, все же рассказ обещали опубликовать. Опубликовать – это означало напечатать. Нужно было с кем-то поделиться, и, прыгая через две ступеньки, я очутился перед дверью Холли.

Я боялся, что голос у меня задрожит, и, как только она открыла дверь, щурясь со сна, я просто сунул ей письмо. Можно было бы прочесть страниц шестьдесят, пока она его изучала.

– Я бы им не дала, раз они не хотят платить, – сказала она, зевая.

Может быть, по моему лицу ей стало ясно, что я не за тем пришел, что мне нужны не советы, а поздравления: зевок сменился улыбкой.

– А, понимаю. Это чудесно. Ну, заходи, – сказала она. – Сварим кофе и отпразднуем это дело. Нет. Лучше я оденусь и поведу тебя завтракать.

Спальня ее была под стать гостиной, в ней царил тот же бивачный дух: чемоданы, коробки – все упаковано и готово в дорогу, как пожитки преступника, за которым гонятся по пятам власти. В гостиной вообще не было мебели; здесь же стояла кровать, притом двуспальная и пышная – светлое дерево, стеганный атлас.

Дверь в ванную она оставила открытой и разговаривала со мной оттуда; за шумом и плеском воды слов почти нельзя было разобрать, но суть их сводилась вот к чему: я, наверно, знаю, что Мэг поселилась здесь, и, право же, так будет удобнее. Если тебе нужна компаньонка, то лучше, чтобы это была круглая дура, как Мэг, потому что она будет платить за квартиру и еще бегать в прачечную.

Сразу было видно, что прачечная для Холли – серьезная проблема: комната была завалена одеждой, как женская раздевалка при физкультурном зале.

– ...и знаешь, как ни странно, она довольно модная манекенщица. Что очень кстати, – сказала Холли, прыгая на одной ноге и застегивая подвязку. – Не будет целый день мозолить глаза. И мужикам на шею вешаться не будет. Она помолвлена. Очень приятный малый. Только у них небольшая разница в росте – примерно полметра в ее пользу. Куда же к черту... – Стоя на коленях, она шарила под кроватью.

Найдя то, что искала, – туфли из змеиной кожи, – она принялась искать блузку, потом пояс, и, когда наконец она возникла из этого

содома, выхоленная и лощеная, словно ее наряжали служанки Клеопатры, – тут было чему удивляться.

Она сказала:.

– Слушай, – и взяла меня за подбородок, – я рада за тебя. Честное слово, рада.

Помню тот понедельник в октябре сорок третьего. Дивный день, беззаботный, как у птицы. Для начала мы выпили по «манхеттену» у Джо Белла, потом, когда он узнал о моей удаче, еще по «шампаню», за счет заведения. Позже мы отправились гулять на Пятую авеню, где шел парад. Флаги на ветру, буханье военных оркестров и военных сапог – все это, казалось, было затеяно в мою честь и к войне не имело никакого отношения.

Позавтракали мы в закусочной парка. Потом, обойдя стороной зоосад (Холли сказала, что не выносит, когда кого-нибудь держат в клетке), мы бегали, хихикали, пели на дорожках, ведущих к старому деревянному сараю для лодок, которого теперь уже нет. По озеру плыли листья; на берегу садовник сложил из них костер, и столб дыма – единственное пятно в осеннем мареве – поднимался вверх, как индейский сигнал.

Весна никогда меня не волновала; началом, преддверием всего казалась мне осень, и это я особенно ощутил, сидя с Холли на перилах у лодочного сарая. Я думал о будущем и говорил о прошлом. Холли расспрашивала о моем детстве. Она рассказывала и о своем, но уклончиво, без имен, без названий, и впечатление от ее рассказов получалось смутное, хотя она со сладострастием описывала лето, купанье, рождественскую елку, хорошеньких кузин, вечеринки – словом, счастье, которого не было да и не могло быть у ребенка, сбежавшего из дому.

– А может быть, неправда, что ты с четырнадцати лет живешь самостоятельно?

Она потерла нос.

– Это-то правда. Остальное – неправда. Но ты, милый, такую трагедию устроил из своего детства, что я решила с тобой не тягаться.

Она соскочила с перил.

– Кстати, вспомнила: надо послать Фреду арахиса.

Остальную часть дня мы провели, рыская по городу и выманивая у бакалейщиков банки с молотым арахисом – деликатесом военного времени. Темнота наступила прежде, чем мы успели набрать полдюжины банок – последняя досталась нам в гастрономе на Третьей авеню. Это было рядом с антикварным магазином, где продавалась клетка, которую я облюбовал, и мы пошли на нее посмотреть. Холли оценила замысловатую вещь.

– И все же это клетка, как ни крути.

Возле Вулворта она схватила меня за руку.

– Украдем что-нибудь, – сказала она, втаскивая меня в магазин, и мне сразу показалось, что на нас смотрят во все глаза, словно мы уже под подозрением. – Давай, не бойся.

Она шмыгнула вдоль прилавка, заваленного бумажными тыквами и масками. Продавщица была занята монашками, которые примеряли маски. Холли взяла маску и надела ее, потом выбрала другую и напялила на меня; потом взяла меня за руку, и мы вышли. Только и всего. Несколько кварталов мы пробежали, наверно, для пущего драматизма и еще, как я понял, потому, что удачная кража окрыляет. Я спросил, часто ли она крадет.

– Приходилось, – сказала она. – Когда что-нибудь нужно было. Да и теперь изредка этим занимаюсь, чтобы не терять сноровки.

До самого дома мы шли в масках.

В памяти у меня осталось много дней, проведенных с Холли; время от времени мы действительно подолгу бывали вместе, но в целом эти воспоминания обманчивы. К концу месяца я нашел работу – надо ли тут что-нибудь добавлять? Чем меньше об этом говорить, тем лучше, достаточно сказать, что для меня это было необходимостью, и я был занят с девяти до пяти. Теперь распорядок дня у меня и у Холли был совершенно разный.

Если это был не четверг, день ее визитов в Синг-Синг, и если она не отправлялась в парк кататься верхом, Холли едва успевала встать к моему приходу. Иногда по дороге с работы я заходил к ней, пил с ней «утренний» кофе, и она одевалась к вечеру. Каждый раз она куда-то уходила – не всегда с Расти Троулером, но, как правило, с ним, и, как правило, им сопутствовали Мэг Уайлдвуд и ее симпатичный бразилец по имени Жозе Ибарра-Егар – мать у него была немка. Квартет этот звучал неслаженно, и главным образом по вине Ибарры-Егара,

который выглядел столь же неуместно в их компании, как скрипка в джазе. Он был человек интеллигентный, представительный, видимо, всерьез занимался своей работой, кажется государственной и важной, и проводил из-за нее большую часть времени в Вашингтоне. Непонятно только, как он мог при этом просиживать целые ночи в «Ла-Рю», в «Эль Марокко», слушая б-б-болтовню Мэг Уайлдвуд, глядя на щечки-ягодицы Расти Троулера. Может быть, подобно многим из нас, он не способен был оценить людей в чужой стране, разложить их по полочкам, как у себя дома; наверно, все американцы выглядели для него одинаково, и спутники казались ему довольно сносными образчиками национального характера и местных нравов. Это может объяснить многое; решимость Холли объясняет остальное.

Однажды в конце дня, ожидая автобуса на Пятой авеню, я увидел, что на другой стороне улицы остановилось такси, из него вылезла девушка и взбежала по ступенькам Публичной библиотеки. Она была уже в дверях, когда я ее узнал, – оплошность вполне простительная, ибо трудно вообразить себе более нелепое сочетание, чем библиотека и Холли. Любопытство увлекло меня на лестницу со львами; я колебался – нагнать ее открыто или изобразить неожиданную встречу. В результате я не сделал ни того, ни другого, а незаметно устроился поблизости от нее в читальне; она сидела там, скрывшись за темными очками и крепостным валом книг на столе. Она перескакивала с одной книжки на другую, временами задерживаясь на какой-нибудь странице и всегда при этом хмурясь, словно буквы были напечатаны вверх ногами. Карандаш ее был нацелен на бумагу, но, казалось, ничто не вызывало у нее интереса, и лишь изредка, как бы с отчаяния, она начинала вдруг что-то старательно царапать. Глядя на нее, я вспомнил девочку, с которой учился в школе, зубрину Милдред Гроссман, – ее сальные волосы и захватанные очки, желтые пальцы (она препарировала лягушек и носила кофе пикетчикам), ее тусклые глаза, которые обращались к звездам только затем, чтобы оценить их химический состав. Холли отличалась от Милдред, как небо от земли, однако мне они казались чем-то вроде сямских близнецов, и нить моих размышлений вилась примерно так: обыкновенные люди часто преобразуются, даже наше тело испытывает раз в несколько лет полное превращение; нравится это нам или нет – таков закон природы. Но вот два человека, которые не изменятся никогда. Это и роднило

Холли с Милдред. Они никогда не изменятся, потому что характер их сложился слишком рано, а это, как внезапно свалившееся богатство, лишает человека чувства меры: одна закослела в ползучем эмпиризме, другая очертя голову кинулась в романтику. Я думал об их будущем, представляя их себе в ресторане: Милдред без конца изучает меню с точки зрения питательных веществ – Холли жадно пробует одно блюдо за другим. И так будет всегда. Они пройдут по жизни и уйдут из нее все тем же решительным шагом, не оглядываясь по сторонам. Эти глубокие наблюдения заставили меня позабыть, где я нахожусь; очнувшись, я с удивлением обнаружил, что сижу в унылой читальне, и снова поразился, увидев неподалеку Холли. Шел восьмой час, и она прихорашивалась: подкрасила губы, надела шарф и серьги, готовясь после библиотеки принять вид, более подобающий для «Колонии». Когда она удалилась, я подошел к столу, где лежали ее книги; их-то я и хотел посмотреть. "К югу на «Буревестнике». «Дорогами Бразилии». «Политическая мысль Латинской Америки». И так далее.

В сочельник они с Мэг устроили вечеринку. Холли попросила меня прийти пораньше и помочь им нарядить елку. Мне до сих пор невдомек, как им удалось втащить такое дерево в комнату. Верхние ветви уперлись в потолок, нижние – раскинулись от стенки до стенки. В общем, она не очень отличалась от того святочного великана, что стоял на Рокфеллер-плаза. Да и нарядить ее мог разве что Рокфеллер – игрушки и мишура таяли в ней, как снег. Холли вызвалась сбегать к Вулворту и стащить несколько воздушных шаров – и действительно, елку они очень украсили. Мы подняли за нее стаканы, и Холли сказала:

– Загляни в спальню, там для тебя подарок.

Для нее я тоже припас маленький пакет, который показался мне еще меньше, когда я увидел на кровати обвязанную красной лентой диво-клетку.

– Холли! Это чудовищно!

– Вполне с тобой согласна, но я думала, что она тебе нравится.

– Но сколько денег! Триста пятьдесят долларов!

Она пожала плечами.

– Несколько лишних прогулок в туалет. Только обещай мне, обещай, что никогда никого туда не посадишь.

Я бросился ее целовать, но она протянула руку.

– Давай сюда, – сказала она, похлопав меня по оттопыренному карману.

– Извини, это не Бог вещь что...

И в самом деле, это была всего лишь медаль со святым Христофором. Зато купленная у Тиффани.^[10]

Холли была не из тех, кто умеет беречь вещи, и она, наверное, давно уже потеряла эту медаль – сунула в чемодан и забыла где-нибудь в гостинице. А клетка все еще у меня. Я таскал ее с собой в Нью-Орлеан, Нантакет, по всей Европе, в Марокко и Вест-Индию, Но я редко вспоминаю, что подарила ее Холли, потому что однажды я решил об этом забыть. У нас произошла бурная ссора, и поднялась эта буря из-за чудо-клетки, О. Д. Бермана и университетского журнала с моим рассказом, который я подарил Холли.

В феврале Холли отправилась путешествовать с Мэг, Расти и Жозе Ибаррой-Егаром. Размолвка наша случилась вскоре после ее возвращения. Кожа у Холли потемнела, как от йода, волосы выгорели добела, и время она провела прекрасно.

– Значит, сперва мы были на Ки-Уэст, и Расти там взелся на каких-то матросов, не то наоборот – они на него взелись, в общем, теперь ему до самой могилы носить корсет. Милейшая Мэг тоже угодила в больницу. Солнечный ожог первой степени. Отвратительно: сплошные волдыри и вонючая мазь. Запах ее невозможно было вынести. Поэтому мы с Жозе бросили их в больнице и отправились в Гавану. Он говорит: «Вот подожди, увидишь Рио»; но на мой вкус Гавана – тоже место хоть куда. Гид у нас был неотразимый – больше чем наполовину негр, а в остальном китаец, и хотя к тем и другим я равнодушна, гибрид оказался ничего. Я даже позволяла ему гладить мне под столом коленки, он мне, ей-богу, казался довольно забавным. Но однажды вечером он повел нас на какую-то порнографическую картину, и что же ты думаешь? На экране мы увидели его самого. Конечно, когда мы вернулись в Ки-Уэст, Мэг была убеждена, что все это время я спала с Жозе. И Расти – тоже, но он не очень убивался, ему просто интересно было узнать подробности. В общем, пока мы с Мэг не поговорили по душам, обстановка была довольно тяжелая.

Мы были в гостиной, и, хотя к концу подходил февраль, елка, побуревшая, потерявшая запах, с шарами, сморщенными, как вымя старой коровы, по-прежнему занимала большую часть комнаты. За это время появилась новая мебель – походная койка, и Холли, пытаюсь сохранить свой тропический вид, загорала на ней под кварцевой лампой.

– И ты ее убедила?

– Что я не спала с Жозе? Бог мой, конечно. Я просто сказала – но знаешь, как на исповеди и с надрывом, – сказала ей, что меня интересуют только женщины.

– Не могла же она поверить?

– Ну да, черта с два не могла! А зачем, по-твоему, она купила эту койку? Чего-чего, а огорошить человека я умею. Миленький, будь добр, натри мне мазью спину.

Пока я этим занимался, она сказала:

– О. Д. Берман – в городе, слушай, я дала ему журнал с твоим рассказом. Ему понравилось. Он считает, что тебе стоит помочь. Но говорит, что ты не туда идешь. Негры и дети – кому это интересно!

– Да уж, наверно, не мистеру Берману.

– А я с ним согласна. Я два раза прочла рассказ. Одни сопляки и негры. Листья колышутся. *Описания*. В этом нет никакого смысла.

Рука моя, растиравшая по спине мазь, словно вышла из повиновения – ей так и хотелось подняться и стукнуть Холли.

– Назови мне что-нибудь такое, – сказал я спокойно, – в чем есть смысл. По твоему мнению.

– "Грозовой перевал", – сказала она не раздумывая. Совладать с рукой я уже почти не мог.

– Глупо. Сравниваешь с гениальной книгой.

– Ага, гениальной, правда? «Дикарочка моя Кэти». Господи, я вся изревелась. Десять раз ее смотрела.

– А-а... – сказал я с облегчением, – а-а... – непростительно возвышая голос, – киношка!

Она вся напряглась, казалось, что трогаешь камень, нагретый солнцем.

– Всякому приятно чувствовать свое превосходство, – сказала она. – Но неплохо бы для этого иметь хоть какие-нибудь основания.

– Я себя не сравниваю с тобой. Или с Берманом. Поэтому и не могу чувствовать своего превосходства. Мы разного хотим.

– А разбогатеть ты не хочешь?

– Так далеко мои планы не заходят.

– Судя по твоим рассказам, да. Как будто ты их пишешь и сам не знаешь, чем они кончатся. Ну так я тебе скажу: зарабатывай лучше деньги. У тебя дорогие фантазии. Вряд ли кто захочет покупать тебе клетки для птиц.

– Очень жаль.

– И еще не так пожалеешь, если меня ударишь. Только что ты хотел, я по руке почувствовала. И опять хочешь.

Я хотел, и еще как; сердце стучало, руки тряслись, когда я завинчивал банку с мазью.

– О нет, об этом я бы не стал сокрушаться. Я жалею, что ты выбросила столько денег; Расти Троулер – нелегкий заработок.

Она села на лойке, – лицо и голая грудь холодно голубели под кварцем.

– Тебе понадобится четыре секунды, чтобы дойти отсюда до двери. Я даю тебе две.

Я пошел прямо к себе, взял клетку, снес ее вниз и поставил у ее двери. Вопрос был исчерпан. Вернее, так мне казалось до следующего утра, когда, отправляясь на работу, я увидел клетку, водруженную на урну и ожидавшую мусорщика Презирая себя за малодушие, я схватил ее и отнес к себе в комнату; но эта капитуляция не ослабила моей решимости начисто вычеркнуть Холли из моей жизни. Я решил, что она «примитивная кривляка», «бездельница» и «фальшивая девица», с которой вообще не стоит разговаривать.

И не разговаривал. Довольно долго. Встречаясь на лестнице, мы отводили глаза. Когда она входила к Джо Беллу, я тут же уходил.

Однажды мадам Сапфия Спанелла, бывшая колоратура и страстная любительница роликовых коньков, жившая на втором этаже, стала обходить жильцов с петицией, в которой требовала выселения мисс Голайтли как «морально разложившейся личности» и «организатора ночных сборищ, угрожающих здоровью и безопасности соседей». И хотя подписать ее я отказался, но в глубине души признавал, что у мадам Спанеллы есть основания для недовольства.

Однако ее петиция ни к чему не привела, и в конце апреля, теплыми весенними ночами, в распахнутые окна снова доносился из квартиры 2 хохот граммофона, топот ног и пьяный гвалт.

Среди гостей Холли нередко встречались подозрительные личности, но как-то раз, ближе к лету, проходя через вестибюль, я заметил уж очень странного человека, который разглядывал ее почтовый ящик. Это был мужчина лет пятидесяти, с жестким, обветренным лицом и серыми несчастными глазами. На нем была старая серая шляпа, в пятнах от пота, и новенькие коричневые ботинки; дешевый летний бледно-голубой костюм мешковато сидел на его долговязой фигуре. Звонить Холли он, по-видимому, не собирался. Медленно, словно читая шрифт Брайля, он водил пальцем по тисненым буквам ее карточки.

В тот же вечер, отправляясь ужинать, я увидел его еще раз. Он стоял, прислонившись к дереву на другой стороне улицы, и глядел на окна Холли. У меня возникли мрачные подозрения. Кто он? Същик? Или член шайки, связанный с ее приятелем по Синг-Сингу – Тома-то? Во мне проснулись самые нежные чувства к Холли. Да и простая порядочность требовала, чтобы я на время забыл о вражде и предупредил ее, что за ней следят.

Я направился в «Котлетный рай» на углу Семьдесят девятой улицы и Мэдисон-авеню и, пока не дошел до первого перекрестка, все время чувствовал на себе взгляд этого человека. Вскоре я убедился, что он идет за мной. Оборачиваться для этого не пришлось – я услышал, как он насвистывает. И насвистывает жалобную ковбойскую песню, которую иногда пела Холли: «Эх, хоть раз при жизни, да не во сне, по лугам по райским погулять бы мне». Свист продолжался, когда я переходил Парк-авеню, и потом, когда я шел по Мэдисон. Один раз перед светофором я взглянул на него исподтишка и увидел, что он наклонился и гладит тощего шпица. «Прекрасная у вас собака», – сказал он хозяину хрипло и по-деревенски протяжно.

«Котлетный рай» был пуст. Тем не менее он сел у стойки рядом со мной. От него пахло табаком и потом. Он заказал чашку кофе, но даже не притронулся к ней, а продолжал жевать зубочистку и разглядывать меня в стенное зеркало напротив.

– Простите, пожалуйста, – сказал я зеркалу, – что вам нужно?

Вопрос его не смутил, казалось, он почувствовал облегчение от того, что с ним заговорили.

– Сынок, – сказал он. – Мне нужен друг.

Он вытащил бумажник. Бумажник был потертый, заскорузлый, как и кожа у него на руках, и почти распадался на части; так же истерта была поломанная, выцветшая фотография, которую он мне протянул. С нее глядели семеро людей, стоящих на террасе ветхого деревянного дома, – все они были дети, за исключением самого этого человека, который обнимал за талию пухленькую беленькую девочку, заслонявшую ладошкой глаза от солнца.

– Это я, – сказал он, указывая на себя. – Это она... – И он потыкал пальцем в пухленькую девочку. – А этот вон, – добавил он, показывая на всклокоченного дылду, – это брат ее, Фред.

Я посмотрел на «нее» еще раз; да, теперь я уже мог узнать Холли в этой шурившей толстощекой девчонке. И я сразу понял, кто этот человек.

– Вы – отец Холли.

Он заморгал, нахмурился.

– Ее не Холли зовут. Раньше ее звали Луламей Барнс. Раньше, *сказал он*, передвигая губами зубочистку, – пока я на ней не женился. Я ее муж. Док Голайтли. Я лошадиный доктор, лечу животных. Ну, и фермерствую помаленьку. В Техасе, под Тюлипом. Сынок, ты почему смеешься?

Это был нервный смех. Я плотнул воды и поперхнулся, он постучал меня по спине.

– Смеяться тут нечего, сынок. Я усталый человек. Пять лет ищу свою хозяйку. Как пришло письмо от Фреда с ее адресом, так я сразу взял билет на дальний автобус. Ей надо вернуться к мужу и к детям.

– Детям?

– Они же дети ей! – почти выкрикнул он.

Он имел в виду остальных четырех ребят на фотографии: двух босоногих девочек и двух мальчиков в комбинезонах. Ясно – этот человек не в себе.

– Но Холли не может быть их матерью. Они старше ее. Больше.

– Слушай, сынок, – сказал он рассудительно. – Я не говорю, что они ей родные дети. Их собственная незабвенная мать – золотая была женщина, упокой Господь ее душу, – скончалась в тридцать шестом

году, четвертого июля, в День независимости. В год засухи. На Луламей я женился в тридцать восьмом – ей тогда шел четырнадцатый год. Обыкновенная женщина в четырнадцать лет, может, и не знала бы, на что она идет. Но возьми Луламей – она ведь исключительная женщина. Она-то распрекрасно знала, что делает, когда обещала стать мне женой и матерью моим детям. Она нам всем сердце разбила, когда ни с того ни с сего сбежала из дому.

Он отпил холодного кофе и посмотрел на меня серьезно и испытующе.

– Ты что, сынок, сомневаешься? Ты мне не веришь, что я говорю все как было?

Я верил. История была слишком невероятной, чтобы в нее не поверить, и к тому же согласовывалась с первым впечатлением О. Д. Бермана от Холли в Калифорнии: «Не поймешь, не то деревенщина, не то сезонница». Трудно упрекнуть Бермана за то, что он не угадал в Холли малолетнюю жену из Тюлипа, Техас.

– Прямо сердце разбила, когда ни с того ни с сего убежала из дому, – повторил лошадиный доктор. – Не было у ней причины. Всю работу по дому делали дочки. А Луламей могла сидеть себе посиживать, крутиться перед зеркалом да волосы мыть. Коровы свои, сад свой, куры, свиньи... Сынок, эта женщина прямо растолстела. А брат ее вырос, как великан. Совсем не такие они к нам пришли. Нелли, старшая моя дочка, привела их в дом. Пришла однажды утром и говорит: «Папа, я там в кухне заперла двух побирушек. Они на дворе воровали молоко и индюшачьи яйца». Это Луламей и Фред. До чего же они были страшные – ты такого в жизни не видел. Ребра торчат, ножки тощие – еле держат, зубы шатаются – каши не разжевать. Оказывается, мать умерла от ТБЦ, отец – тоже, а детишек – всю ораву – отправили жить к разным дрянным людям. Теперь, значит, Луламей с Фредом оба жили у каких-то поганых людишек, милях в ста от Тюлипа. Оттуда ей было с чего бежать, из ихнего дома. А из моего бежать ей было не с чего. Это был ее дом. – Он поставил локти на стойку, прижал пальцами веки и вздохнул. – Поправилась она у нас, красивая стала женщина. И веселая. Говорливая, как сойка. Про что бы речь ни зашла – всегда скажет что-нибудь смешное, лучше всякого радио. Я ей, знаешь, цветы собирал. Ворона ей приручил, научил говорить ее имя. Показал ей, как на

гитаре играют. Бывало, погляжу на нее – и слезы навертываются. Ночью, когда ей предложение делал, я плакал, как маленький. А она мне говорит: «Зачем ты плачешь. Док? Конечно, мы поженимся. Я ни разу еще не женилась». Ну а я засмеялся и обнял ее – крепко: ни разу еще не женилась! – Он усмехнулся и стал опять жевать зубочистку. – Ты мне не говори, что этой женщине плохо жилось, – сказал он запальчиво. – Мы на нее чуть не молились. У ней и дел-то по дому не было. Разве что съесть кусок пирога. Или причесаться, или послать кого-нибудь за этими самыми журналами. К нам их на сотню долларов приходило, журналов. Если меня спросить – из-за них все и стряслось. Насмотрелась картинок. Небылиц начиталась. Через это она и начала ходить по дороге. Что ни день, все дальше уходит. Пройдет милю – и вернется. Две мили – и вернется. А один раз взяла и не вернулась. – Он снова прикрыл пальцами веки, в горле у него хрипело. – Ворон ее улетел и одичал. Все лето его было слышно. Во дворе. В саду. В лесу. Все лето кричал проклятый ворон:

«Луламей, Луламей!»

Он сидел сторбясь, словно прислушиваясь к давно смолкшему вороньему крику. Я отнес наши щеки в кассу. Пока я расплачивался, он ко мне подошел. Мы вышли вместе и двинулись к Парк-авеню. Был холодный, ненастный вечер, раскрашенные полотняные навесы хлопали на ветру. Я первым нарушил молчание:

– А что с ее братом? Он не ушел?

– Нет, сэр – сказал он, откашлявшись. – Фред с нами жил, пока его не забрали в армию. Прекрасный малый. Прекрасно обращался с лошадьми. Тоже не мог понять, что с ней стряслось, с чего она вздумала всех нас бросить – и брата, и мужа, и детей. А в армии он стал получать от нее письма. На днях прислал ее адрес. Вот я за ней и приехал. Я ведь знаю – она жалеет, что так поступила. Я ведь знаю – ей хочется домой.

Казалось, он просит, чтобы я подтвердил его слова. Я сказал, что Холли, наверно, с тех пор изменилась.

– Слушай, сынок, – сказал он, когда мы подошли к подъезду. – Я тебе говорил, что мне нужен друг. Нельзя ее так ошарашить. Поэтому-то я и не торопился. Будь другом, скажи ей, что я здесь.

Мысль познакомиться мисс Голайтли с ее мужем показалась мне заманчивой. А взглянув наверх, на ее освещенные окна, я подумал, что

еще приятнее было бы полюбоваться на то, как техасец станет пожимать руки ее друзьям – Мэг, Расти и Жозе, – если они тоже здесь. Но гордые, серьезные глаза Дока Голайтли, его шляпа в пятнах от пота заставили меня устыдиться этих мыслей.

Он вошел за мной и приготовился ждать внизу.

– Прилично я выгляжу? – шепнул он, подтягивая узел галстука. Холли была одна. Дверь она открыла сразу; она собиралась уходить – белые атласные туфельки и запах духов выдавали ее легкомысленные намерения.

– Ну, балда, – сказала она, игриво шлепнув меня сумочкой, – сейчас мне некогда мириться. Трубку мира выкурим завтра, идет?

– Конечно, Луламей. Если ты еще будешь здесь завтра.

Она сняла темные очки и прищурилась. Глаза ее были словно расколотые призмы; голубые, серые, зеленые искры – как в осколках хрустала.

– Это он тебе сказал, – прошептала она дрожащим голосом. – Прощу тебя! Где он?

Она выбежала мимо меня на лестницу.

– Фред! – закричала она вниз. – Фред, дорогой! Где ты?

Я слышал, как шагает вверх по лестнице Док Голайтли. Голова его показалась над перилами, и Холли отпрянула – не от испуга, а как будто от разочарования. А он уже стоял перед ней, виноватый и застенчивый.

– Ах ты Господи, Луламей, – начал он и замолк, потому что Холли смотрела на него пустым взглядом, словно не узнавая. – Ой, золотко, – сказал он, – да тебя здесь, видно, не кормят. Худая стала. Как раньше. Вся как есть отощала.

Холли притронулась к обросшему щетиной подбородку, словно не веря, что видит его наяву.

– Здравствуй, Док, – сказала она мягко и поцеловала его в щеку. – Здравствуй, Док, – повторила она радостно, когда он поднял ее в воздух, чуть не раздавив в своих объятиях.

– Ах ты Боже мой! – И он засмеялся с облегчением. – Луламей! Слава тебе Господи.

Ни он, ни она не обратили на меня внимания, когда я протиснулся мимо них и пошел к себе в комнату. Казалось, они не

заметили и мадам Сапфии Спанеллы, когда та высунулась из своей двери и заорала: «Тише, вы! Позорище! Нашла место развратничать».

– Развелась с ним? Конечно, я с ним не разводилась. Мне-то было всего четырнадцать. Брак не мог считаться законным. – Холли пощелкала по пустому бокалу. – Мистер Белл, дорогой, еще два martini.

Джо Белл – мы сидели у него в баре – принял заказ неохотно.

– Раненько вы взялись наливаться, – заметил он, посасывая таблетку.

На черных часах позади стойки не было еще и двенадцати, а мы уже выпили по три коктейля.

– Сегодня воскресенье, мистер Белл. По воскресеньям часы отстают. А к тому же я еще не ложилась, – сказала она ему, а мне призналась: – Вернее, не спала. – Она покраснела и виновато отвернулась. Впервые на моей памяти ей захотелось оправдаться: – Понимаешь, пришлось. Док ведь вправду меня любит. И я его люблю. Тебе он, может, старым показался, серым. Но ты не знаешь, какой он добрый, как он умеет утешить и птиц, и детишек, и всякую слабую тварь. А кто тебя мог утешить – тому ты по гроб жизни обязан. Я всегда поминаю Дока в моих молитвах. Перестань, пожалуйста, ухмыляться, – потребовала она, гася окурок. – Я ведь правда молюсь.

– Я не ухмыляюсь. Я улыбаюсь. Удивительный ты человек.

– Наверно, – сказала она, и лицо ее, осунувшееся, помятое под безжалостным утренним светом, вдруг прояснилось; она пригладила растрепанные волосы, и рыжие, соломенные, белые пряди снова вспыхнули, как на рекламе шампуня. – Наверно, вид у меня кошмарный. Да и чему тут удивляться? Весь остаток ночи мы прошатались у автобусной станции. Док до самой последней минуты думал, что я с ним уеду. Хотя я ему без конца твердила: «Док, мне уже не четырнадцать лет, и я не Луламей». Но самое ужасное (я поняла это, пока мы там стояли) – все это неправда. Я и сейчас ворую индюшачьи яйца и хожу вся исцарапанная. Только теперь я это называю «лезть на стенку».

Джо Белл с презрением поставил перед нами по коктейлю.

– Смотрите, мистер Белл, не вздумайте влюбиться в лесную тварь, – посоветовала ему Холли. – Вот в чем ошибка Дока. Он вечно

таскал домой лесных зверей. Ястребов с перебитыми крыльями. А один раз даже взрослую рысь принес, со сломанной лапой. А диких зверей любить нельзя: чем больше их любишь, тем они сильнее становятся. А когда наберутся сил – убегают в лес. Или взлетают на дерево. Потом на дерево повыше. Потом в небо. Вот чем все кончается, мистер Белл. Если позволишь себе полюбить дикую тварь, кончится тем, что только и будешь глядеть в небо.

– Она напилась, – сообщил мне Джо Белл.

– В меру, – призналась Холли. – Но Док-то знал, о чем я говорю. Я ему подробно все объяснила: такую вещь он может понять. Мы пожали друг другу руки, обнялись, и он пожелал мне счастья. – Она взглянула на часы. – Сейчас он, наверно, проезжает Голубые горы.

– О чем это она толкует? – спросил Джо Белл. Холли подняла бокал.

– Пожелаем и Доку счастья, – сказала она, чокнувшись со мной. – Счастья. И поверь мне, милый Док, – лучше глядеть в небо, чем жить там. До чего же пустое место, и такое пасмурное. Просто край, где гремит гром и все на свете пропадает.

«Еще одна свадьба Троулера». Этот заголовок я увидел в метро, где-то в Бруклине. Газету держал другой пассажир. Единственно, что мне удалось прочесть: «Резерфорд (Расти) Троулер, миллионер и бонвиван, часто обвинявшийся в пронацистских симпатиях, умыкнул вчера в Гриниче прелестную...» Не могу сказать, чтобы мне хотелось читать дальше. Значит, Холли вышла за него – так-так. Прямо хоть под поезд ложись. Но такое желание было у меня и до того, как я прочел заголовок. По многим причинам. Холли я толком не видел с пьяного воскресенья в баре Джо Белла. А за минувшие недели я сам начал лезть на стенку. Прежде всего меня выгнали с работы – заслуженно, за проступок хоть и забавный, но рассказывать о нем было бы слишком долго. Затем призывная комиссия стала проявлять ко мне нездоровый интерес. От опеки я избавился совсем недавно, когда уехал из своего городка, и поэтому мысль, что надо мной снова будут старшие, приводила меня в отчаяние. Неопределенность моего воинского положения и отсутствие профессии не позволяли мне рассчитывать на новую работу. В бруклинском же метро я был потому, что возвращался после обескураживающей беседы с издателем ныне покойной газеты

«П. М.». Все это, и вдобавок летняя городская духота, довело меня до прострации. И желание оказаться под колесами было вполне искренним. Заголовок усилил его еще больше. Если Холли могла выйти за этого «нелепого зародыша», почему бы топчущим землю ордам несчастий не протопать и по мне? А может быть – и это вопрос вполне законный, – мое негодование объяснялось тем, что я сам был влюблен в Холли? Пожалуй. Ведь я и в самом деле был в нее влюблен. Влюблялся же я когда-то в пожилую негритянку, кухарку моей матери, или в почтальона, который позволял мне разносить с ним письма, или в целое семейство Маккендриков! Такого рода любовь тоже бывает ревливой.

На своей станции я купил газету и выяснил, прочтя конец фразы, что невеста Расти – прелестная манекенщица родом из Арканзаса, мисс Маргарет Тетчер Фицхью Уайлдвуд. Мэг! Ноги у меня ослабли до того, что остаток пути мне пришлось проделать на такси.

Мадам Сапфия Спанелла встретила меня внизу, выпучив глаза и ломая руки.

– Бегите, – сказала она, – приведите полицию. Она кого-то убивает! Ее кто-то убивает!

И это было похоже на правду. В квартире Холли словно резвились тигры. Звенели стекла, трещала и падала мебель. Но среди грохота не слышалось голосов, и в этом было что-то неестественное.

– Бегите! – визжала мадам Спанелла, подталкивая меня. – В полицию! Убийство!

Я побежал, но только наверх, к Холли. Я постучался – мне не открыли, только шум стал тише. Прекратился совсем. Но все мольбы впустить меня остались без ответа. Пытаясь вышибить дверь, я лишь разбил себе плечо. Потом я услышал, как мадам Спанелла приказывает кому-то внизу сходить за полицией.

– Молчите, – сказали ей, – и убирайтесь вон. Это был Жозе Ибарра-Егар. Совсем непохожий на лощеного бразильского дипломата, потный и испуганный. Мне он тоже приказал убираться вон. И открыл дверь своим ключом.

– Сюда, доктор Голдман, – сказал он, кивнув своему спутнику. Никто меня не остановил, и я вошел за ними в совершенно разгромленную квартиру. Рождественская елка была наконец

разобрана – в полном смысле слова, – ее бурые, высохшие ветви валялись среди разорванных книг, разбитых ламп и патефонных пластинок. Опустошен был даже холодильник, и его содержимое раскидано по всей комнате: со стен стекали сырые яйца, а среди этого разорения безымянный кот Холли спокойно лакал из лужицы молоко.

В спальне от запаха разлитых духов у меня запершило в горле. Я наступил на темные очки Холли – они валялись на полу с расколотыми стеклами и сломанной оправой. Может быть, поэтому Холли, неподвижно лежавшая на кровати, бессмысленно смотрела на Жозе и совсем не замечала доктора. А он, щупая ей пульс, приговаривал: «Вы переутомились, девушка. Сильно переутомились. Вы хотите уснуть, правда? Уснуть».

Холли терла лоб, размазывая кровь с порезанного пальца.

– Уснуть... – сказала она и всхлипнула, как измученный ребенок.

– Он один мне позволял. Позволял прижиматься, когда ночью было холодно. Я нашла место в Мексике. С лошадьми. У самого моря.

– С лошадьми, у самого моря, – убаюкивал доктор, извлекая из черного саквояжа шприц.

Жозе отвернулся, не в силах глядеть на иглу.

– Она больна только огорчением? – спросил он, и эта неправильная фраза прозвучала иронически. – Она просто огорчена?

– Совсем не болит, правда? – самодовольно спросил доктор, растирая ей руку ваткой.

Она пришла в себя и наконец-то заметила врача.

– Все болит. Где мои очки?

Но они были не нужны – глаза ее сами собой закрывались.

– Она просто огорчена? – настаивал Жозе.

– Будьте добры, – сухо попросил доктор, – оставьте меня с пациенткой.

Жозе удалился в гостиную и сорвал там свою злость на колоратуре, которая прокралась на цыпочках в комнату и подслушивала у двери.

– Не смейте меня трогать! Я позову полицию, – угрожала она, пока он выталкивал ее за дверь, ругаясь по-португальски.

Он подумал, не выставить ли заодно и меня, по крайней мере так я понял по выражению его лица. Но вместо этого он предложил мне

выпить. В единственной уцелевшей бутылке, которую нам удалось найти, был сухой вермут.

– Я беспокоюсь, – произнес Жозе. – Я беспокоюсь, что это может вызвать скандал. То, что она все ломала. Вела себя как сумасшедшая. Я не могу быть замешан в публичном скандале. Это слишком деликатный вопрос – моя репутация, моя работа.

Он несколько ободрился, узнав, что я не вижу оснований для скандала: уничтожение собственного имущества – это частное дело каждого.

– Это лишь вопрос огорчения, – твердо заявил он. – Когда наступила печаль, прежде всего она бросает свой бокал. Бутылку. Книги. Лампу. Затем я пугаюсь. Я спешу за доктором.

– Но почему, – хотел я знать, – почему такая истерика из-за Расти? На ее месте я бы радовался.

– Расти?

Газета была еще у меня, и я показал ему заголовок.

– А, это... – Он улыбнулся довольно пренебрежительно. – Они оказали нам большое одолжение. Расти и Мэг. Мы очень смеялись. Они думали, что разбили наше сердце, а мы все время хотели, чтобы они убежали. Уверяю вас, мы смеялись, когда наступила печаль. – Он поискал глазами в хламе на полу и поднял комок желтой бумаги. – Вот, – сказал он.

Это была телеграмма из Тюлипа, Техас: ПОЛУЧИЛИ ИЗВЕСТИЕ НАШ ФРЕД УБИТ В БОЮ ТОЧКА ТВОЙ МУЖ И ДЕТИ РАЗДЕЛЯЮТ СКОРЬ ОБЩЕЙ УТРАТЫ ТОЧКА ЖДИ ПИСЬМА ЛЮБЯЩИЙ ДОК

С тех пор Холли не говорила о брате; только один раз. Звать меня Фредом она перестала. Июнь, июль, все жаркие месяцы она провела в спячке, словно не замечая, что зима давно уже кончилась, весна прошла и наступило лето. Волосы ее потемнели. Она пополнела, стала небрежнее одеваться и, случалось, выбегала за покупками в дождевике, надетом на голое тело. Жозе переехал к ней, и на почтовом ящике вместо имени Мэг Уайлдвуд появилось его имя. Но Холли подолгу бывала одна, потому что три дня в неделю он проводил в Вашингтоне. В его отсутствие она никого не принимала, редко выходила из дому и лишь по четвергам ездила в Синг-Синг.

Но это отнюдь не означало, что она потеряла интерес к жизни. Наоборот, она выглядела более спокойной и даже счастливой, чем когда бы то ни было. В ней вдруг проснулся хозяйственный пыл, и она сделала несколько неожиданных покупок: приобрела на аукционе гобелен на охотничий сюжет (травля оленя), мрачную пару готических кресел, прежде украшавших поместье Уильяма Рэндольфа Херста, купила все издания «Современной библиотеки», целый ящик пластинок с классической музыкой и бессчетное число репродукций музея Метрополитен (а также фигурку китайской кошки, которую ее кот ненавидел и в конце концов разбил); обзавелась миксером, кастрюлей-скороваркой и собранием кулинарных книг. Целыми днями она хлопотала в своей кухоньке-душегубке.

– Жозе говорит, что я готовлю лучше, чем в «Колонии». Скажи, кто бы мог подумать, что я прирожденная кулинарка? Месяц назад я не умела поджарить яичницу.

В сущности, этому она так и не научилась. Простые блюда – бифштекс, салат – у нее никак не получались. Зато она кормила Жозе, а порой и меня, супами *outré*^[11] (вроде черепахового бульона с коньяком, подававшегося в кожуре авокадо), изысками в духе Нерона (жареный фазан, фаршированный хурмой и гранатами) и прочими сомнительными новинками (цыпленок и рис с шафраном под шоколадным соусом: «Классическое индийское блюдо, дорогой мой»). Карточки на сахар и сливки стесняли ее воображение, когда дело доходило до сладкого, тем не менее она однажды состряпала нечто под названием «табако-тапиока» – лучше его не описывать.

Не буду описывать и ее попыток одолеть португальский – столь же тяжелых для меня, как и для нее, потому что всякий раз, когда бы я к ней ни зашел, на патефоне крутилась пластинка с уроком португальского языка. Теперь редкая ее фраза не начиналась словами: «Когда мы поженимся...» или «Когда мы переедем в Рио...» Однако Жозе не заговаривал о женитьбе. Она этого не скрывала.

– Но в конце концов он ведь знает, что я в положении. Ну да, милый. Шесть месяцев уже. Не понимаю, чему ты удивляешься. Я, например, не удивляюсь. Ни *un peu*^[12]. Я в восторге. Я хочу, чтобы у меня было не меньше девяти. Несколько будет темненьких – в Жозе есть негритянская кровь, ты сам, наверно, догадался. И по-моему, это чудесно: что может быть лучше черномазого ребеночка с ясными

зелеными глазками? Я бы хотела – не смейся, пожалуйста, – но для него, для Жозе, я бы хотела быть девушкой. Не то чтобы я путалась со всеми подряд, как тут болтают; я их, кретинов, не виню, сама болтала невесть что. Нет, правда, я на днях прикинула, у меня их было всего одиннадцать – если не считать того, что случилось со мной до тринадцати лет... да разве это можно считать? Одиннадцать. Какая же я шлюха? А посмотри на Мэг Уайлдвуд. Или на Хонни Такер, или на Роз Эллен Уорд. Собрать все их трепачи – ты бы оглох от топота. Я, конечно, ничего не имею против шлюх, кроме одного: язык кое у кого из них, может, и честный, но сердце – у всех нечестное. Я считаю, ты можешь переспать с человеком и позволить, чтобы он за тебя платил, но хотя бы старайся убедить себя, что ты его любишь. Я старалась. Даже с Бенни Шаклеттом. И другими такими же паразитами. Я вроде как внушала себе, что есть даже своя прелесть в том, что они крысы. Seriously, не считая Дока, если тебе угодно его считать, Жозе – мой первый человеческий роман. Конечно, он тоже не верх совершенства. Может соврать по мелочам, его беспокоит, что подумают люди, и моется чуть не по пятьдесят раз в день, а мужчина должен чем-нибудь пахнуть. Он слишком чопорный, слишком осторожный, чтобы быть моим идеалом; он всегда поворачивается спиной, когда раздевается, слишком шумно ест, и я не люблю смотреть, как он бежит – смешно он как-то бежит. Если бы я могла свободно выбирать из всех, кто живет на земле, – щелкнуть пальцами и сказать: «Стань передо мной», – Жозе бы я не взяла. Неру – он, пожалуй, больше подходит. Или Уэндел Уилки. Согласна на Грету Гарбо – хоть сейчас. А почему бы и нет? Человеку должно быть позволено жениться на ком угодно. Вот ты бы пришел ко мне и сказал, что хочешь окрутиться с миноносцем, – я бы уважала твое чувство. Нет, серьезно. На любовь не должно быть запрета. Так я думаю. Особенно теперь, когда я начала понимать, что это такое. Потому что я люблю Жозе, я бы курить бросила, если бы он захотел. Он добрый, он умеет меня рассмешить, когда я начинаю лезть на стенку. Но теперь это со мной редко бывает, только иногда, да и то не так гнусно, чтобы приходилось плотать люминал или тащиться к Тиффани; я просто несу в чистку его костюм или, там, жарю грибы и чувствую себя прекрасно, просто великолепно. Вот и гороскопы свои я выкинула. Сколько этих паршивых звезд в планетарии – и каждая, наверно, мне в доллар

обошлась. Это банально, но суть вот в чем: тебе тогда будет хорошо, когда ты сам будешь хорошим. Хорошим? Вернее сказать, честным. Не по уголовному кодексу честным – я могилу могу ограбить, медяки с глаз у мертвого снять, если деньги нужны, чтобы скрасить жизнь, – перед собой нужно быть честным. Можно кем угодно быть, только не трусом, не притворщиком, не лицемером, не шлюхой – лучше рак, чем нечестное сердце. И это не ханжество. Простая практичность. От рака можно умереть, а с этим вообще жить нельзя. А, на хрен все, дай-ка мне гитару, и я спою тебе одну fada на самом что ни есть португальском языке.

Эти последние недели в конце лета и начале осени слились у меня в памяти – потому, быть может, что мы стали понимать друг друга так глубоко, что могли обходиться почти без слов; в наших отношениях царил тот ласковый покой, который приходит на смену нервному желанию утвердить себя, напряженной болтовне, когда дружба скорей поверхностна, хотя кажется более горячей.

Часто, когда он уезжал из города (к нему я стал относиться враждебно и редко называл его по имени), мы проводили вместе целые вечера, порой не обменявшись и сотней слов; однажды мы дошли пешком до китайского квартала, отведали там китайского рагу, купили бумажных фонариков и, украв коробку ароматических палочек, удрали на Бруклинский мост; на мосту, глядя на корабли, уходящие к раскаленному, стиснутому каменными домами горизонту, она сказала:

– Через много лет, через много-много лет один из этих кораблей привезет меня назад – меня и девять моих бразильских ребяташек. Да, они должны это увидеть – эти огни, реку... Я люблю Нью-Йорк; хотя он и не мой, как должно быть твоим хоть что-нибудь: дерево, улица, город – в общем, то, что стало твоим, потому что здесь твой дом, твое место.

А я сказал: «Ну замолчи!» – чувствуя себя чужим, ненужным – как буксир в сухом доке рядом с праздничным лайнером, который, весело гудя, в облаке конфетти пускается в путь к далекой гавани.

Так незаметно прошли последние дни и стерлись у меня в памяти, осенние, подернутые дымкой, все одинаковые, как листья, –

все, кроме одного, который не был похож ни на какой другой день в моей жизни.

Он пришелся на тридцатое сентября – день моего рождения, хотя на дальнейших событиях это не отразилось. Правда, я надеялся получить от родных поздравление в денежной форме и с нетерпением ждал утренней почты, для чего спустился вниз, чтобы подкараулить почтальона. И если бы я не слонялся по вестибюлю, Холли не позвала бы меня кататься верхом и ей не представилось бы случая спасти мне жизнь.

– Пошли, – сказала она, застав меня в ожидании почтальона. – Возьмем лошадок и покатаемся по парку.

На ней была кожаная куртка, джинсы и теннисные туфли: она похлопала себя по животу, показывая, какой он плоский.

– Не думай, что я хочу избавиться от наследника. Но у меня там есть лошадка, моя милая старушка Мейбл Минерва, и я не могу уехать, не попрощавшись с ней.

– Не попрощавшись?

– В следующую субботу. Жозе купил билеты.

Я просто остолбенел и покорно дал вывести себя на улицу.

– В Майами мы пересядем на другой самолет. А там – над морем. Через Анды. Такси!

Через Анды... Пока машина ехала по Центральному парку, мне казалось, что я тоже лечу, одиноко парю над враждебными, заснеженными вершинами.

– Но нельзя же... В конце концов, как же так? Нет, как же так? Не можешь же ты всех бросить!

– Вряд ли кто будет по мне скучать. У меня нет друзей.

– Я буду скучать. И Джо Белл. И, ну... миллионы. Салли. Бедный мистер Томато.

– Я любила старика Салли, – сказала она и вздохнула. – Знаешь, я уже месяц его не видела. Когда я сказала ему, что уезжаю, он вел себя как ангел. Честно говоря, – она нахмурилась, – он, кажется, был в восторге, что я отсюда уезжаю. Он сказал, что это к лучшему. Потому что рано или поздно, но неприятности будут. Если обнаружится, что я ему не племянница. Этот толстый адвокат послал мне пятьсот долларов. Наличными. Свадебный подарок от Салли.

Мне хотелось ее обидеть.

– И от меня получишь подарок. Если только свадьба состоится.

Она засмеялась.

– Будь спокоен, он на мне женится. В церкви. В присутствии всего семейства. Поэтому мы все и отложили до Рио.

– А он знает, что ты уже замужем?

– Что с тобой? Хочешь мне испортить настроение? День такой прекрасный – перестань!

– Но очень возможно...

– Нет, невозможно. Я же тебе сказала: это не был законный брак. Не мог быть. – Она потерла нос и взглянула на меня искоса. – Попробуй только заикнись об этом. Я тебя подвешу за пятки и освежую, как свинью.

Конюшни – теперь, по-моему, на их месте стоит телестудия – находились в западной части, на Шестьдесят шестой улице. Холли выбрала для меня старую, вислозадую чалую кобылу: «Не бойся, на ней покойнее, чем в люльке». Это для меня имело решающее значение, ибо мой опыт верховой езды ограничивался катанием на пони во время детских праздников. Холли помогла мне вскарабкаться в седло, вскочила на свою серебристую лошадь и затрусила вперед через людную проезжую часть Центрального парка к дорожке для верховой езды, на которой осенний ветер играл сухими листьями.

– Чувствуешь? – крикнула она. – Здорово!

И я вдруг почувствовал. Глядя, как вспыхивают ее разноцветные волосы под красно-желтым, прорвавшимся сквозь листву солнцем, я вдруг ощутил, что люблю ее настолько, чтобы перестать жалеть себя, отчаиваться, настолько, чтобы забыть о себе и просто радоваться ее счастью.

Лошади пошли плавной рысью, порывы ветра окатывали нас с головы до ног, плескали в лицо, мы то ныряли в озерца тени, то выходили на солнце, и радость бытия, веселое возбуждение играли во мне, как пузырьки в шипучке. Но это длилось одну минуту – следующая обернулась мрачным фарсом.

Внезапно, как дикари из засады, на тропинку из кустарника выскочили негритята. С улюлюканьем и руганью они начали швырять в лошадей камнями и хлестать их прутьями.

Моя чалая кобыла вскинулась на дыбы, заржала и, покачавшись на задних ногах, как циркач на проволоке, ринулась по тропинке,

выкинув мои ноги из стремян, так что я едва держался в седле. Подковы ее высекали из гравия искры. Небо накренилось. Деревья, пруд с игрушечными корабликами, статуи мелькали мимо. Няньки при нашем грозном приближении бросались спасать своих питомцев, прохожие, бродяги и прочие орали: «Нятяни поводья!», «Тпру, мальчик, тпру!», «Прыгай!» Но все это я вспомнил позднее, а в тот момент я слышал только Холли – ковбойский стук копыт за спиной и непрерывные крики ободрения. Вперед, через парк на Пятую авеню – в гущу полуденного движения с визгом сворачивающих такси и автобусов. Мимо особняка Дьюка, музея Фрика, мимо «Пьера» и «Плазы». Но Холли нагоняла меня; в скачку включился конный полисмен, и вдвоем, взяв мою лошадь в клещи, они вынудили ее, взмыленную, остановиться. И тогда я наконец упал. Упал, поднялся сам и стоял, не совсем понимая, где нахожусь. Собралась толпа. Полисмен гневался и что-то записывал в книжку, но вскоре смягчился, расплылся в улыбке и пообещал проследить за тем, чтобы лошадей вернули в конюшню.

Холли усадила меня в такси:

– Милый, как ты себя чувствуешь?

– Прекрасно.

– У тебя совсем нет пульса, – сказала она, щупая мне запястье.

– Значит, я мертвый.

– Балда! Это не шутки. Погляди на меня.

Беда была в том, что я не мог ее разглядеть; вернее, я видел не одну Холли, а тройку потных лиц, до того бледных от волнения, что я растерялся и смутился.

– Честно. Я ничего не чувствую. Кроме стыда.

– Нет, правда? Ты уверен? Скажи. Ты мог убится насмерть.

– Но не убился. Благодаря тебе. Спасибо, ты спасла мне жизнь.

Ты необыкновенная. Единственная. Я тебя люблю.

– Дурак несчастный. – Она поцеловала меня в щеку. Потом их стало четверо, и я потерял сознание.

В тот вечер фотографии Холли появились на первых страницах «Джорнэл америкен», «Дейли ньюс» и «Дейли миррор». Но к лошади, которая понесла, эта популярность не имела отношения. Как показывали заголовки, она объяснялась совсем иной причиной:

«Арестована девица, причастная к торговле наркотиками» («Джорнэл америкен»). «Арестована актриса, продававшая наркотики» («Дейли ньюс»). «Раскрыта шайка торговцев наркотиками, задержана очаровательная девушка» («Дейли миррор»).

«Ньюс» напечатала самую эффектную фотографию: Холли входит в полицейское управление, зажата между двумя мускулистыми агентами – мужчиной и женщиной. В таком мрачном окружении по одной одежде (на ней еще был костюм для верховой езды – куртка и джинсы) ее можно было принять за подружку бандита, а темные очки, растрепанные волосы и прилипшая к надутым губам сигарета «Пикиюн» сходство это только усиливали. Подпись гласила:

«Районный прокурор заявил, что двадцатилетняя Холли Голайтли, очаровательная киноактриса и ресторанный знаменитость, является видной фигурой в международной торговле наркотиками, которой управляет Сальваторе (Салли) Томато. На снимке: агенты Патрик Коннор и Шейла Фезонетти (справа) доставляют ее в полицейский участок Шестьдесят седьмой улицы. Подробности на стр. 3».

Подробности, вместе с фотографией человека, опознанного как Оливер (Отец) О'Шонесси (он заслонял лицо шляпой), занимали полных три колонки. Вот эта заметка в сокращенном виде:

"Завсегдатаи ресторанов были вчера ошеломлены арестом Холли Голайтли, очаровательной голливудской киноактрисы, снискавшей широкую известность в Нью-Йорке. В то же время, в два часа дня, при выходе из «Котлетного рая», на Мэдисон-авеню полицией был задержан Оливер О'Шонесси, пятидесяти двух лет, проживающий в гостинице «Сиборд» на Сорок девятой улице. Как заявил районный прокурор Франк Л. Доннован, оба они – видные фигуры в международной банде торговцев наркотиками, которой руководит пресловутый «фюрер» мафии Сальваторе (Салли) Томато, ныне отбывающий пятилетний срок в Синг-Синге за подкуп политических деятелей... О'Шонесси, лишенный сана священник, известный в преступном мире под кличками Отец и Падре, имеет несколько судимостей начиная с 1934 года, когда он был приговорен к двум годам тюрьмы за содержание якобы клиники для душевнобольных в Род-Айленде, под названием «Монастырь». Мисс Голайтли, ранее не

имевшая судимостей, была арестована в своей роскошной квартире в Ист-Сайде. Хотя районная прокуратура отказалась сделать на этот счет официальное заявление, в осведомленных кругах утверждают, что эта очаровательная блондинка, бывшая до последнего времени постоянной спутницей мультимиллионера Резерфорда Троулера, действовала как liaison^[13] между заключенным Томато и его подручным О'Шонесси... По тем же сведениям, фигурируя как родственница Томато, мисс Голайтли еженедельно посещала Синг-Синг, где Томато снабжал ее зашифрованными устными распоряжениями, которые она затем передавала О'Шонесси. Благодаря этой связной Томато, род. в Чефалу, Сицилия, в 1874 г., имел возможность лично руководить международным синдикатом по торговле наркотиками, имеющим филиалы на Кубе, в Мексике, Сицилии, Танжере, Тегеране и Дакаре. Однако районная прокуратура отказалась подтвердить эти сведения и сообщить какие-либо дополнительные подробности... Большая толпа репортеров собралась у полицейского участка Восточной Шестьдесят седьмой улицы, куда для составления протокола были доставлены оба арестованных. О'Шонесси, грузный, рыжеволосый человек, отказался отвечать на вопросы и ударил одного из фоторепортеров ногой в пах. Но хрупкая, хорошенькая мисс Голайтли, одетая, как мальчишка, в джинсы и кожаную куртку, оставалась сравнительно спокойной. "Не спрашивайте меня, что означает эта чертовщина, – сказала она репортерам. – *Parce que je ne sais pas, mes chers. (Потому что я не знаю, мои дорогие.)* Да, я ходила к Салли Томато. Я навещала его каждую неделю. Что в этом плохого? Он верит в Бога, и я тоже..."

Потом шел подзаголовок: «Призналась, что сама употребляет наркотики».

"Мисс Голайтли улыбнулась, когда репортер спросил ее, употребляет ли она сама наркотики. «Я пробовала марихуану. Она и вполтину не так вредна, как коньяк. И к тому же дешевле. К сожалению, я предпочитаю коньяк. Нет, мистер Томато никогда не упоминал при мне о наркотиках. То, как его преследуют эти гнусные люди, приводит меня в ярость. Он душевный, религиозный человек. Милейший старик».

В этом отчете содержалась одна уж совсем грубая ошибка: Холли была арестована не в своей «роскошной квартире», а у меня в ванной. Я отмачивал свои ушибы в горячей воде с плауберовой солью; Холли,

как заботливая нянька, сидела на краю ванны, собираясь растереть меня бальзамом Слоуна и уложить в постель. Раздался стук в дверь. Дверь была не заперта, и Холли крикнула: «Войдите!» Вошла мадам Сапфия Спанелла, а следом за ней – двое агентов в штатском; одним из них была женщина с толстыми косами, закрученными вокруг головы.

– Вот она, кого вы ищете! – заорала мадам Спанелла, врываясь в ванную и нацеливаясь пальцем сначала на Холли, а потом на мою наготу. – Полюбуйтесь, что за шлюха!

Агент-мужчина, казалось, был смущен и поведением мадам Спанеллы, и всей этой картиной; зато лицо его спутницы загорелось жестокой радостью – она шлепнула Холли по плечу и неожиданно тонким детским голоском приказала:

– Собирайся, сестричка. Пойдем куда следует.

Холли сухо ответила:

– Убери свои лапы, ты, лесбиянка слюнявая!

Это несколько рассердило даму, и она двинула Холли со страшной силой. С такой силой, что голова Холли мотнулась набок, склянка с мазью вылетела из рук и раскололась на кафельном полу; после чего я, выскочив из ванны, чтобы принять участие в драке, чуть не лишился обоих больших пальцев на ногах. Голый, оставляя на полу кровавые следы, я проводил процессию до самого холла.

– Только не забудь, корми, пожалуйста, кота, – наставляла меня Холли, пока агенты толкали ее вниз по лестнице.

Я, конечно, решил, что это происки мадам Спанеллы: она уже не раз вызывала полицию и жаловалась на Холли. Мне и в голову не приходило, что дело может обернуться так скверно, пока вечером не появился Джо Белл, размахивая газетами. Он был настолько взволнован, что не мог выражаться членораздельно; пока я читал, он бегал по комнате и колотил по ладони кулаком. Потом он сказал:

– По-вашему, это правда? Она замешана в этом гнусном деле?

– Увы, да.

Свирепо глядя на меня, он кинул в рот таблетку и принялся ее грызть, словно это были мои кости.

– Какая мерзость! А еще называется друг. Ну и свинья!

– Погодите, я не сказал, что она участвовала в этом сознательно. Это не так. Но что было, то было. Передавала распоряжения, и всякая

такая штука.

– А вы, я вижу, не больно волнуетесь. Господи, да ей десять лет могут дать. И больше! – Он вырвал у меня газеты. – Вы знаете ее дружков. Богачей. Идем в бар, будем звонить. Девчонке понадобятся защитники половчее тех, кто мне по карману.

Я был слишком слаб, чтобы одеться самостоятельно, – Джо Беллу пришлось мне помочь. В баре он подал мне в телефонную будку тройной мартини и полный стакан монет. Но я никак не мог придумать, кому мне звонить. Жозе был в Вашингтоне, и я понятия не имел, как его там разыскать. Расти Троулеру? Только не этому ублюдку! А каких еще друзей Холли я знаю? Кажется, она была права, говоря, что у нее нет настоящих друзей.

Я заказал Крествью 5-6958 в Беверли-хилс – номер О. Д. Бермана, который дала междугородная справочная. Там ответили, что мистеру Берману делают массаж и его нельзя беспокоить, позвоните, пожалуйста, позже. Джо Белл пришел в ярость: «Надо было сказать, что дело идет о жизни и смерти!» – и заставил меня позвонить Расти. Сначала подошел дворецкий мистера Троулера. «Мистер и миссис Троулер обедают, – объявил он, – что им передать?» Джо Белл закричал в трубку: «Это срочно, слышите? Вопрос жизни и смерти!» В результате я получил возможность поговорить с урожденной Уайлдвуд или, вернее, ее выслушать: «Вы что, ошалели? Мы с мужем подадим в суд на того, кто попытается приплести наше имя к этой от-от-отвратительной де-де-дегенератке. Я всегда знала, что она наркоманка и что морали у нее не больше, чем у суки во время течки. Тюрьма для нее – самое место. И муж со мной согласен на тысячу процентов. Мы просто в суд подадим на того, кто...» Повесив трубку, я вспомнил о старом Доке из Тьюлипа, Техас; но нет, Холли не позволила бы ему звонить, она убьет меня за это.

Я снова вызвал Калифорнию. Линия была все время занята, и, когда мне наконец дали О. Д. Бермана, я уже выпил столько мартини, что ему самому пришлось объяснять мне, зачем я звоню.

– Вы насчет детки? Все уже знаю! Я позвонил Игги Финкелстайну. Игги – лучший адвокат в Нью-Йорке. Я сказал Игги: займись этим делом и вышли мне счет, только не называй моего имени, понятно? Я вроде в долгу перед деткой. Не то чтобы я ей был должен, но надо же ей помочь. Она тронутая. Дурака валяет. Но

валяет всерьез, понимаете? В общем, ее освободят под залог в десять тысяч. Не беспокойтесь, вечером Игги ее заберет; не удивлюсь, если она уже дома.

Но ее не было дома; не вернулась она и на следующее утро, когда я пошел накормить кота. Ключа у меня не было, и, поднявшись по пожарной лестнице, я проник в квартиру через окно. Кот был в спальне, и не один: нагнувшись над чемоданом, там стоял мужчина. Я перешагнул через подоконник; приняв друг друга за грабителей, мы обменялись неуверенными взглядами. У него было приятное лицо, гладкие, словно лакированные волосы, и он напоминал Жозе; больше того, в чемодан он собирал вещи Жозе – туфли, костюмы, с которыми Холли вечно возилась и носила то в чистку, то в ремонт. Заранее зная ответ, я спросил:

– Вас прислал мистер Ибарра-Егар?

– Я есть кузен, – сказал он, настороженно улыбаясь, с акцентом, сквозь который едва можно было продраться.

– Где Жозе?

Он повторил вопрос, словно переводя его на другой язык.

– А, где она? Она ждет, – сказал он и, словно забыв обо мне, снова стал укладывать вещи.

Ага, дипломат решил смяться. Что ж, меня это не удивило инисколько не опечалило. Но какой же подлец!

– Его бы следовало выпороть кнутом.

Кузен хихикнул; кажется, он меня понял. Он захлопнул чемодан и протянул мне письмо.

– Моя кузен, она просил оставлять это для ее друг. Вы сделать одолжение?

На конверте торопливым почерком было написано: «Для мисс Х. Голайтли».

Я сел на ее кровать, прижал к себе кота и почувствовал каждой своей клеточкой такую боль за Холли, какую почувствовала бы она сама.

– Да, я сделаю одолжение.

И сделал, вопреки своему желанию. У меня не хватило ни мужества уничтожить письмо, ни силы воли, чтобы оставить его в кармане, когда Холли, очень осторожно, спросила меня, нет ли случайно каких-нибудь известий о Жозе. Это было на третье утро. Я

сидел у ее постели в больничной палате, где воняло йодом и подкладным судном. Она лежала там с той ночи, когда ее арестовали.

– Да, милый, – приветствовала она меня, когда я подошел к ней на цыпочках с блоком сигарет «Пикиюн» и букетиком фиалок в руках, – я все-таки потеряла наследника.

Ем нельзя было дать и двенадцати лет – палевые волосы зачесаны назад, глаза без темных очков, чистые, как дождевая вода, – не верилось, что она больна.

И все же это было так.

– Вот гадость – я чуть не сдохла. Кроме шуток: толстуха чуть не прибрала меня. Она веселилась до упаду. Я тебе, кажется, не рассказывала про толстую бабу? Я сама о ней не знала, пока не умер брат. Сначала я просто не могла понять, куда он делся, что это значит: Фред умер; а потом увидела ее, она была у меня в комнате, качала Фреда на руках, толстая рыжая сволочь, и сама качалась, качалась в кресле – а Фред у нее на руках – и ржала, как духовой оркестр. Вот смех! Но у нас это все впереди, дружок: дожидается рыжая, чтобы сыграть с нами шутку. Теперь ты понял, с чего я взбесилась и все переломала?

Не считая адвоката, нанятого О. Д. Берманом, я был единственным, кого допустили к Холли. В палате были еще больные – три похожие на близнецов дамы, которые без недоброжелательства, но откровенно меня разглядывали и делились впечатлениями, перешептываясь по-итальянски.

Холли объяснила:

– Они думают, что ты – мой соблазнитель. Парень, который меня подвел. – И на мое предложение просветить их на этот счет ответила: – Не могу. Они не говорят по-английски. Да и зачем портить им удовольствие?

Тут она и спросила меня о Жозе.

В тот миг, когда она увидела письмо, глаза ее сощурились, а губы сложились в тугую улыбку, которая вдруг состарила ее до бесконечности.

– Милый, – попросила она, – открой, пожалуйста, тот ящик и достань мне сумочку. Девушке не полагается читать такие письма, не намазав губы.

Глядя в ручное зеркальце, она мазалась и пудрилась до тех пор, пока на лице не осталось и следа от ее двенадцати лет. Она накрашила губы одной помадой и нарумянила щеки другой. Подвела веки черным карандашом, потом голубым, спрыснула шею одеколоном, нацепила жемчужные серьги и надела темные очки. Забронировавшись таким образом и посетовав на печальное состояние своего маникюра, она разорвала наконец конверт и быстро пробежала письмо. Пока она читала, сухая, деревянная улыбка на ее лице становилась все тверже и суше. Затем она попросила сигарету. Затянулась.

– Отдает дерьмом. Но божественно, – сказала она и швырнула мне письмо. – Может, пригодится, если вздумаешь написать роман из жизни крыс. Не робей. Прочти вслух. Я сама хочу послушать.

Оно начиналось: «Дорогая моя девочка...»

Холли сразу меня прервала. Ей хотелось знать, что я думаю о почерке. Я ничего о нем не думал: убористое, разборчивое, невыразительное письмо.

– Он весь в этом. Застегнут на все пуговики. Страдает запорами, – объявила она. – Продолжай.

«Дорогая моя девочка, я любил тебя, веря, что ты не такая, как все. Но пойми мое отчаяние, когда мне открылось столь жестоким и скандальным образом, как ты непохожа на ту женщину, которую человек моей веры и общественного положения хотел бы назвать своей женой. Я поистине скорблю, что тебя постигло такое бесчестие, и не смею ко всеобщему осуждению присоединить еще и свое. Поэтому я надеюсь, что и ты меня не осудишь. Я должен оберегать свою семью и свое имя, и я – трус, когда им что-нибудь угрожает. Забудь меня, прекрасное дитя. Меня здесь больше нет. Я уехал домой. И пусть Бог не оставит тебя и твоего ребенка. Пусть Бог не будет таким, как Жозе».

– Ну?

– В своем роде это, пожалуй, честно. И даже трогательно.

– Трогательно? Эта бодяга?

– Но в конце концов он же сам признает, что он трус. И с его точки зрения, сама понимаешь...

Холли не желала признать, что она понимает; однако, несмотря на толстый слой косметики, лицо выдавало ее.

– Хорошо. У этой крысы есть свои оправдания. Но он гигантская крыса. Крысиный король, как Расти. И Бенни Шаклетт. Ах, пропади я пропадом, – сказала она, кусая кулак, совсем как обиженный ребенок. – Я его любила. Таковую крысу.

Итальянское трио, решив, что это любовный *crise*^[14] и что во всем виноват я, зацокало на меня с укоризной. Я был польщен, горд тем, что хоть кто-то мог подумать, будто я ей не безразличен.

Я предложил ей еще сигарету, она успокоилась, плотнула дым и сказала:

– Спасибо, козлик. И спасибо, что ты оказался таким плохим наездником. Не заставил бы ты меня изображать амазонку – есть бы мне тогда бесплатную кашу в доме для незамужних мамаш. Спорт, как видишь, очень помогает. Но легавые до *la merde* перетрусили, когда я им сказала, что во всем виновата эта проститутка, которая меня стукнула. Теперь я их могу притянуть по всем статьям, включая незаконный арест.

До сих пор мы избегали говорить о самой серьезной стороне дела, и теперь это шутовское упоминание прозвучало убийственно – оно ясно показывало, что Холли не в состоянии понять всей мрачности своего положения.

– Слушай, Холли, – начал я, приказывая себе: будь сильным, рассудительным, будь ей опорой, – слушай, Холли, все это не шутки. Надо подумать о будущем.

– Молод ты еще меня поучать. Мал. Да и какое тебе дело до меня?

– Никакого. Кроме того, что я твой друг и поэтому беспокоюсь. Я хочу знать, что ты намерена делать.

Она потеряла нос и уставилась в потолок.

– Сегодня среда, да? Значит, до субботы я намерена проспаться, чтобы как следует отоспаться. В субботу утром я смотаюсь в банк. Потом забегу к себе на квартиру и заберу там пижаму-другую и платье получше. После чего двину в Айдлуайлд. Там для меня, как ты знаешь, заказано самое распрекрасное место на самом распрекрасном самолете. А раз уж ты такой друг, я позволю тебе помахать мне ручкой. Пожалуйста, перестань мотать головой.

– Холли! Холли! Это невозможно.

– Et pourquoi pas?^[15] Не думай, я не собираюсь цепляться за Жозе. По моей переписи он гражданин преисподней. Но с какой стати пропадать прекрасному билету? Раз уж за него уплачено? При том я ни разу не была в Бразилии.

– Какими таблетками тебя тут кормят? Ты что, не понимаешь, что ты под следствием? Если ты сбежишь и тебя поймают, то посадят как следует. А если не поймают, ты никогда не сможешь вернуться домой.

– Ай, какой ужас! Все равно, дом твой там, где ты чувствуешь себя как дома. А я такого места пока не нашла.

– Холли, это глупо. Ты же ни в чем не виновата. Потерпи, все обойдется.

Она сказала: «Давай, жми», – и выпустила дым мне в лицо. Однако мои слова подействовали: глаза ее расширились, словно от того же страшного видения, которое возникло передо мной; железные камеры, стальные коридоры с медленно закрывающимися дверьми.

– А, гадство, – сказала она и загасила окурок. – Но очень может быть, что меня не поймают. Если только ты не будешь разевать bouche^[16]. Милый, не презирай меня. – Она накрыла ладонью мою руку и пожала с неожиданной откровенностью. – У меня нет выбора. Я советовалась с адвокатом; насчет Рио я, конечно, и не заикнулась – он скорее сам наймет легавых, чем согласится потерять гонорар, не говоря уже о тех грошах, которые О. Д Берман оставил в залог.

Благослови его Бог за это, но однажды в Калифорнии я помогла ему выиграть побольше десяти кусков на одной сдаче в покер, – мы с ним квиты. Нет, загвоздка не в этом: все, что легавым нужно, – это задарма меня полапать и заполучить свидетеля против Салли, а преследовать меня никто не собирается, у них на меня ничего нет. А я, пусть я такая-сякая немазаная, но на друга капать не буду. Даже если они докажут, что он весь мир завалил наркотиками. Моя мерка – это как человек ко мне относится; а старик Салли, хоть он и вел себя не совсем честно и обошел меня малость, все равно Салли – молодчина, и лучше пусть меня толстуха приберет, а клепать я на него не буду. – Она подняла зеркальце, растерла кончиком мизинца помаду на губах и сказала: – И, честно говоря, это еще не все. Свет ramпы тоже дает неприятные тени, которые лицо не украшают. Даже если суд мне присудит медаль «Пурпурное сердце», все равно здесь мне ждать нечего: ни в одну дыру теперь не пустят, от «Ла-Рю» до бара

Пероны, – можешь поверить, мне здесь будут рады, как гробовщику. А если бы ты, птенчик, зарабатывал моими специфическими талантами, ты бы понял, что это для меня банкротство. Я не намерена пасть до того, чтобы обслуживать в здешнем городке разных дроволомов с Вест-Сайда. В то время, как великолепная миссис Троулер вертит задницей у Тиффани. Нет, мне это не светит. Тогда подавай мне толстуху хоть сейчас.

В палату бесшумно вошла сестра и сообщила, что приемные часы окончились. Холли стала возражать, но сестра прервала спор, вставив ей в рот термометр. Когда я собрался уходить, Холли раскупорилась, чтобы сказать мне:

– Милый, сделай одолжение. Позвони в «Таймс» или еще куда и возьми список пятидесяти самых богатых людей в Бразилии. Я серьезно: самых богатых – независимо от расы и цвета кожи. И еще просьба: пошарь у меня дома, отыщи медаль, которую ты мне подарил. Святого Христофора. Я возьму ее в дорогу.

Небо было красным ночью в пятницу, оно гремело, а в субботу, в день отъезда, город захлестнуло ливнем. Акулы еще смогли бы плавать в воздухе, но уж никак не самолеты.

Холли не обращала внимания на мою веселую уверенность, что полет не состоится, и продолжала сборы – и должен сказать, основная часть работы легла на меня. Она решила, что ей не стоит появляться вблизи нашего дома. И вполне справедливо: дом был под наблюдением – репортеров ли, полицейских или других заинтересованных лиц, сказать трудно, но у подъезда постоянно околачивались какие-то люди. Поэтому из больницы она отправилась в банк, а оттуда – прямо в бар Джо Белла.

– Она говорит, за ней нет хвоста, – сказал Джо Белл, ворвавшись ко мне. И передал просьбу Холли: – Прийти в бар как можно скорее, самое позднее через полчаса. И принести драгоценности, гитару, зубные щетки и прочее. И бутылку столетнего коньяка, – говорит, вы найдете ее в корзине, под грязным бельем. Да, еще кота. Кот ей нужен. Но, черт возьми, я вообще не уверен, что ей надо помогать. Оберегать ее надо – от самой себя. По мне бы, лучше сообщить в полицию. А может, вернуться мне в бар и напоить ее как следует – может, она бросит тогда свою затею?

Оступаясь, карабкаясь вверх и вниз по пожарной лестнице между ее квартирой и своей, промокший до костей (и до костей расцарапанный, потому что кот не одобрял эвакуации, тем более в такое ненастье), я отлично справился с задачей и собрал ее пожитки. Я даже нашел медаль святого Христофора. Все было свалено на полу моей комнаты – жалкая пирамида лифчиков, бальных туфель, безделушек, которые я складывал в ее единственный чемодан. Масса вещей не влезла, и мне пришлось рассовать их в бумажные мешки от бакалеи. Я все не мог придумать, как унести кота, но потом сообразил, что можно запихнуть его в наволочку.

Почему – неважно, но как-то раз мне пришлось пройти пешком от Нью–Орлеана до Нэнсиз-Лендинг, Миссисипи, – почти пятьсот миль. По сравнению с дорогой до бара Джо Белла это была детская забава. Гитара налилась водой, дождь размочил бумажные мешки, мешки разлезлись, духи разлились по тротуару, жемчуг покатился в сточный желоб, ветер сбивал с ног, кот царапался, кот орал, но что хуже всего – я сам был испуган, я трусил, как Жозе, казалось, ненастная улица кишит невидимками, которые только и ждут, как бы схватить меня и отправить в тюрьму за помощь преступнице.

Преступница сказала:

– Ты задержался, козлик. А коньяк принес?

Освобожденный от наволочки, кот вскочил ей на плечо; он размахивал хвостом, словно дирижируя бравурной музыкой. В Холли тоже как будто вселился этот мотив – разухабистое ум-па-па, *bon voyage*^[17]. Откупоривая коньяк, она сказала:

– Это уже из моего приданого. Каждую годовщину мы должны были прикладываться – такая была идея. Слава Богу, другого приданого я так и не купила. Мистер Белл, дорогой, три бокала!

– Хватит вам двух, – сказал он ей. – Не буду я пить за вашу глупость.

Чем больше она его обхаживала («Ах, мистер Белл, дамы ведь не каждый день уезжают. Неужели вы не выпьете со мной на дорогу?»), тем грубее он ей отвечал:

– Мне какое дело? Хотите в пекло – валяйте! А я вам не помощник.

Утверждение неточное, потому что спустя несколько секунд к бару подъехал вызванный им лимузин, и Холли, первая заметив его,

поставила бокал и подняла брови, словно ожидая увидеть самого районного прокурора. Так же, как я. А когда я увидел краску на лице Джо Белла, то поневоле подумал: Боже, он все-таки вызвал полицию!

Но тут, с горящими ушами, он объявил:

– Это так, ерунда. «Кадиллак» от Кейри. Я его нанял. Отвезти вас на аэродром.

Он повернулся к нам спиной и занялся своими цветами. Холли сказала:

– Добрый, милый мистер Белл. Посмотрите на меня, сэр.

Он не захотел. Он выдернул цветы из вазы и швырнул в Холли: цветы пролетели мимо и рассыпались по полу.

– До свидания, – сказал он и, словно его вдруг затошнило, бросился в мужскую уборную. Мы слышали, как он запер дверь.

Шофер кадиллака был человек светский, он принял наш наспех упакованный багаж вполне учтиво и сохранял каменное лицо всю дорогу, пока машина неслась по городу сквозь утихающий дождь, а Холли снимала с себя костюм для верховой езды, который она так и не успела переменить, и влезала в узкое черное платье. Мы не разговаривали – разговор мог привести только к ссоре, а кроме того, Холли была слишком занята собой, чтобы разговаривать. Она мурлыкала себе под нос, прикладывалась к коньяку, все время наклонялась вперед и заглядывала в окошко, словно отыскивая нужный дом или прощаясь с местами, которые хотела запомнить.

Но дело было не в этом. А вот в чем.

– Остановите здесь, – приказала она шоферу, и мы затормозили у обочины тротуара в испанском Гарлеме.

Дикое, угрюмое место, разукрашенное афишами, изображающими кинозвезд и Мадонну. Тротуары, захламленные фруктовой кожурой и истлевшими газетами, которые трепало ветром, – ветер еще дул, хотя дождь уже кончился и в небе открылись голубые просветы.

Холли вылезла из машины; кота она взяла с собой. Баюкая его, она почесала ему за ухом и спросила:

– Как ты думаешь? Пожалуй, это самое подходящее место для такого бандюги, как ты. Мусорные ящики. Пропать крыс. Масса бродячих котов. Чем тебе не компания? Ну, убирайся, – сказала она, бросив его на землю. Когда кот не двинулся с места и только поднял к

ней свою разбойничью морду, вопрошающе глядя желтым пиратским глазом, она топнула ногой: – Сказано тебе, мотай! – Он потерялся об ее ногу. – Сказано тебе, уё... – крикнула она, потом прыгнула в машину, захлопнула дверцу и приказала шоферу: – Езжайте! Езжайте!

Я был ошеломлен.

– Ну ты и... ну ты и стерва.

Мы проехали квартал, прежде чем она ответила.

– Я ведь тебе говорила. Мы просто встретились однажды у реки – и все. Мы чужие. Мы ничего друг другу не обещали. Мы никогда... – проговорила она, и голос у нее прервался, а лицо пошло судорогой, покрылось болезненной бледностью. Машина стала перед светофором. А дверца уже была открыта, Холли бежала назад по улице, и я бежал за ней.

Но кота не было на том углу, где его бросили. Там было пусто, только пьяный мочился у стенки да две монахини-негритянки гуськом вели поющих ребятишек. Потом из дверей стали выходить еще ребята, из окон высовывались хозяйки, чтобы поглазеть, как Холли носится вдоль квартала, причитая: «Ты! Кот! Где ты? Эй, кот!» Это продолжалось до тех пор, пока не появился покрытый ссадинами мальчишка, держа за шиворот облезлого кота: «Тетя, хочешь хорошую киску? Дай доллар».

Лимузин подъехал за нами. Холли позволила отвести себя к машине. У дверцы она замешкалась, посмотрела назад, мимо меня, мимо мальчишки, который все предлагал своего кота («Полдоллара. Ну, четверть. Четверть – это немного»); потом она задрожала и, чтобы не упасть, схватила меня за руку:

– О Господи Иисусе! Какие же мы чужие? Он был мой.

Тогда я дал ей слово: я сказал, что вернусь и найду ее кота.

– И позабочусь о нем. Обещаю.

Она улыбнулась, невесело, одними губами.

– А как же я? – спросила она шепотом и опять задрожала. – Мне страшно, милый. Да, теперь страшно. Потому что это может продолжаться без конца. Так и не узнаешь, что твое, пока не потеряешь... Когда на стенку лезешь – это ерунда. Толстая баба – ерунда. А вот во рту у меня так сухо, что, хоть умри, не смогла бы плюнуть.

Она влезла в машину и опустила на сиденье.

– Извините, водитель. Поехали.

«Помидорчик мистера Томато исчез. Предполагают, что бандиты разделались с сообщницей».

Со временем, однако, газеты сообщили: «Следы скрывшейся актрисы привели в Рио».

Американские власти, по-видимому, не сделали никаких попыток ее вернуть; газеты эту историю забыли и лишь изредка упоминали о ней в скандальной хронике; только раз она снова вернулась на первые полосы – под Рождество, когда Салли Томато умер в тюрьме от сердечного приступа. Прошли месяцы, целая зима, а от Холли ни слова. Владелец дома продал оставшееся от нее имущество: кровать, обитую белым атласом, гобелен и бесценные готические кресла. В квартиру въехал жилец по имени Куэйнтенс Смит, который принимал не менее шумных гостей, чем в свое время Холли; но теперь мадам Спанелла не возражала, она питала к молодому человеку слабость и каждый раз, когда у него появлялся синяк под глазом, приносила ему филе миньон. А весной пришла открытка, нацарапанная карандашом, и вместо подписи на ней стоял помадный поцелуй: «В Бразилии было отвратительно, зато Буэнос-Айрес – блеск. Не Тиффани, но почти. Увивается божественный sefiog. Любовь? Кажется, да. Пока ищу, где бы поселиться (у сеньора – жена, 7 детей), и пришлю тебе адрес, как только узнаю его сама. Mille tendresses». Но адрес, если он и появился, так и не был прислан, и это меня огорчало – мне о многом хотелось ей написать: я *продал* два рассказа, прочел, что Троулеры затеяли развод, выехал из старого дома – меня одолели воспоминания. Но главное, мне хотелось рассказать ей о коте. Я выполнил свое обещание: я его нашел. Для этого мне пришлось неделями бродить после работы по улицам испанского Гарлема. Не раз передо мной вдруг мелькал тигровый мех, а потом оказывалось, что это ложная тревога. Но однажды зимой, в холодное солнечное воскресенье, я на него наткнулся. Он сидел среди чистых кружевных занавесок, между цветочных горшков, в окне уютной комнаты, и я спросил себя, какое ему дали имя, – я был уверен, что имя у него теперь есть, что он нашел наконец свое место. И будь то африканская хижина или что-нибудь другое, – надеюсь, что и Холли нашла своё.

notes

Примечания

1

Гилберт (1836—1917) – английский поэт и драматург; А
Салливан (1842—1900) – английский композитор – Авторы
популярных комических опер

Уолтер Уинчелл – американский журналист

3

Боже праведный (фр.)

4

Совсем сумасшедшая (фр)

5

Дерьмо (фр.)

6

Какая (фр.)

7

На расстоянии (фр)

8

Обнимаю и целую(фр.).

9

В экзистенциальной философии – страх перед бытием Die Angst
(нем.) страх

Св. Христофор (ум. ок. 250 г.) христианский мученик.
Покровитель путников.

Здесь: необыкновенными, экзотическими (фр.)

Ни чуточки (фр.)

Связная (фр.)

Кризис (фр.

15

Почему же? (фр.)

Ροτ (φρ.)

Счастливого пути (фр.)